

НА ЛИНИИ ФРОНТА
ПРАВДА О ВОЙНЕ

Никлас Бурлак

**АМЕРИКАНСКИЙ
ДОБРОВОЛЕЦ
В КРАСНОЙ АРМИИ**



**НА Т-34 ОТ КУРСКОЙ ДУГИ ДО РЕЙХСТАГА.
ВОСПОМИНАНИЯ ОФИЦЕРА-РАЗВЕДЧИКА**

1943—1945

**Никлас Григорьевич Бурлак
Американский доброволец в
Красной Армии. На Т-34 от Курской
дуги до Рейхстага. Воспоминания
офицера-разведчика. 1943–1945
Серия «На линии фронта. Правда о войне»**

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5960946

*Американский доброволец в Красной Армии. На Т-34 от Курской дуги до Рейхстага. Воспоминания
офицера-разведчика. 1943-1945: Центрполиграф; Москва; 2013
ISBN 978-5-227-04323-8*

Аннотация

В ваших руках удивительное свидетельство о Великой Отечественной войне – воспоминания американского гражданина Никласа Бурлака, волею судьбы с семьей оказавшегося в 1930-х годах в Советском Союзе и разделившего горькую судьбу нашей страны в 1940-х. Автор несколько раз был тяжело ранен, дважды терял в бою экипаж своей тридцатьчетверки. Он уверен, что жизнью своей обязан большой любви, неожиданно встреченной им в совсем неподходящей для этого военной обстановке, но однажды трагически оборвавшейся. Никлас Бурлак прошел через крупнейшие сражения второй половины Великой Отечественной войны – Курскую битву, освобождение Белоруссии и Польши, взятие Берлина. В мае 1945 года он, как и многие советские воины, на стенах Рейхстага кратко описал свой путь от родного дома до логова врага. У Никласа Бурлака надпись начиналась очень необычно для советского офицера: «Bethlehem, Pennsylvania, U.S.A.». В США эту замечательную книгу в 2010–2012 годах автор издал под именем М.Дж. Никлас, увековечив в псевдониме память двоих своих братьев Майка и Джона, также хлебнувших все «прелести» советской жизни.

Содержание

Предисловия к Американскому изданию	4
Человек мира, воин мира	4
Американец, защищавший советскую землю	6
От автора	7
9 мая 1945 года. Берлин, Германия	8
9 февраля 1943 года	10
23 февраля 1943 года. День Красной армии и Военно-морского флота	13
10 апреля 1943 года. Госпиталь в Пушкино	15
15 апреля 1943 года. Курск, железнодорожная станция	23
16 апреля 1943 года. Утро в сосновом бору	25
17 апреля 1943 года. В лесах	28
18 мая 1943 года. Лес к западу от Курска	30
30 мая 1943 года. На берегах Сейма. Сашок	33
2 июня 1943 года. На стрельбах	35
Ретроспекция-1. Как все начиналось	38
Ретроспекция-2. Знакомство с Алексеем Толстым	43
Ретроспекция-3. Рубиновые звезды Кремля	51
25 июня 1943 года. Встреча с генералом Рокоссовским	52
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Никлас Бурлак Американский доброволец в Красной Армии На Т-34 от Курской дуги до Рейхстага. Воспоминания офицера-разведчика. 1943-1945

Приношу благодарность редактору этой книги Кэтрин Райт, а также моим родственникам и друзьям в США и бывших республиках Советского Союза, которые были первыми ее читателями, еще в рукописи: Уильяму Тимп-сону, Гейлмари Киммел, Соне Бошко, Грегу Кингу, Науму Хомскому, Пийту Сигеру, Марку Соломону, Гарри Доттерманну, Келли Тимпсон, Софии Кугель, Валерии Бурлак, Дороти Литт, Мартину Шоцу, Ави Хомской, давшим мне немало ценных советов и замечаний. М.Дж. Никлас. Ньютон, США Июнь 2009 г.

Предисловия к Американскому изданию

Человек мира, воин мира

Вам предстоит встреча с человеком интересной и невероятно сложной судьбы, который трижды оказывался на краю могилы. Приятели и друзья зовут его просто Никлас, а литературный псевдоним его – М.Дж. Никлас.

Он родился в городе Бетлехеме, в графстве Нортхемптон штата Пенсильвания, в Соединенных Штатах Америки. Там он прослыл «истребителем крыс»: из снайперской пневматической винтовки научился бить крысу в глаз, как охотники в Сибири добывают белок.

А на Бродвее, в Нью-Йорке, его стали называть художником-моменталистом. На Украине, в Донбассе, он стал ворошиловским стрелком. В Актюбинске Казахской ССР он работал художником-оформителем областного кинотеатра «Культ-Фронт».

В Москве же он был курсантом военной спецшколы № 3 Центрального штаба партизанского движения.

В июле – августе 1943 года Никлас стал участником величайшей танковой битвы на Курской дуге.

Он был тяжело ранен, с полной потерей сознания. Похоронная команда сочла его убитым. С него, как положено, сняли жетон. Его матери отправили похоронку: «Пал смертью храбрых». Однако Никласу не суждено было оказаться зарытым в землю. Его спасла «принцесса Оксана», медсестра – первая фронтовая любовь Никласа. Осматривая со своей санитарной группой поле боя, она обнаружила будущего автора этой книги на краю братской могилы, прильнула к его груди – и почувствовала едва заметное биение сердца...

В июле 1944 года Никлас участвовал в освобождении заключенных из немецко-фашистского концлагеря смерти Майданек.

В конце февраля 1945 года в Померании он освобождал из лагеря военнопленных несколько тысяч американских и британских летчиков.

В начале марта 1945 года между городами Альтдамом и Штутгартом Никлас со своим танковым экипажем спас американского летчика-истребителя из штата Массачусетс капитана Ричарда О'Брайна, сбитого «Мессершмиттами».

Участвуя 862 дня в сражениях против немецко-фашистских агрессоров, он был четырежды ранен и дважды контужен, но каждый раз снова и снова возвращался на передовую.

Его не призывали на военную службу. В Красной армии он был американским добровольцем, так как агрессоры покушались не только на страны Западной и Восточной Европы, но и на его родину – Соединенные Штаты Америки.

2 мая 1945 года на одной из колонн Рейхстага среди автографов, оставленных советскими солдатами и офицерами на русском, белорусском, украинском, казахском, армянском, грузинском и других языках СССР, появилась надпись и на английском, выцарапанная осколком снаряда. Это был автограф армейского разведчика М.Дж. Никласа.

Вся его послевоенная жизнь в СССР была связана со сценическим искусством и международным культурным обменом со многими странами мира. В Кремлевском дворце съездов и на сценических площадках столичных городов союзных республик в постановке Никласа шли театрализованные представления и спектакли: «Мелодияс де Верано», «Золотая осень», «Вам улыбаются звезды», «Подмосковные вечера», «Приключения Николки-космонавта» и др.

Вернувшись на родину, в Штаты, он пишет и представляет в Бостоне на английском языке свою устную трилогию *The Death of a Giant* и пьесу *Wish You All a Happy New Year!*

В настоящее время Никлас работает над продолжением книги *LOVE & WAR* и пишет серию непридуманных новелл под общим названием: «Янки в стране большевиков, или Сага о Бурлаках». Эту серию новелл Никлас называет своей «лебединой песней».

Грег Кинг, писатель

Бостон, США Июнь 2009 г.

Американец, защищавший советскую землю

Что может быть лучшим поводом написать мемуары, как не увиденные собственными глазами жестокость, деструктивность и ужасы войны? Что может быть лучшим поводом, как не желание заполнить большие лакуны в знаниях молодежи разных стран: не каждый юноша и девушка расскажет сегодня о том, кто с кем воевал и кто победил во Второй мировой войне. Кто может лучше других рассказать об огромном вкладе советского народа в дело победы над фашизмом, как не американец, который был участником той войны в качестве добровольца Красной армии, несколько раз был ранен, стал свидетелем немецко-фашистских зверств в лагерях смерти и который вместе со своими товарищами по оружию завершил победные сражения у стен берлинского Рейхстага. Все это вы найдете в монументальной книге М.Дж. Никласа «Любовь и война».

Работа автора исследует противоречивую, казалось бы, взаимоисключающую и, вместе с тем, неразрывную связь между любовью и войной. Страстная любовь молодого Никласа к юной и красивой медсестре, его глубокое уважение к товарищам по оружию в разгар трагических событий – все это подтверждает неудержимый потенциал человеческого существа в его стремлении преодолеть ужасы войны и выйти на качественно более высокий уровень людской солидарности.

Мы должны знать суровую правду о трагедиях той войны. Нам нужна новая эпоха прочного мира. Всем нам необходимо прочесть и поразмыслить над искренней, шемящей мемуарной работой М.Дж. Никласа.

*Профессор Марк Соломон, автор книги *The Cry Was Unity**

От автора

Моим товарищам по оружию посвящаю

Всю жизнь я веду дневники, записываю все интересное и значительное, происходящее вокруг меня. Некоторые дневники сохранились, другие пропали, но все равно у меня их накопилось немало. Мои записи времен той, как ее называли, «священной войны» – это заметки обычного 17—19-летнего парня, оказавшегося в необычной ситуации, – записки американского добровольца, воевавшего с фашистскими агрессорами в рядах советской Красной армии и оставшегося живым.

О событиях, свидетелем и участником которых мне довелось тогда быть, я бы сегодня написал несколько иначе, чем сделал это тогда, во время войны. Блокноты более шести-десяти лет пылились в таком же старом, как и они, чемодане. Страницы в них пожелтели и стали хрупкими. Долгое время меня терзали сомнения: кому они нужны? Ведь на эту тему уже написано художественной и документальной литературы – море; фильмов и пьес о любви и о той войне – не счесть...

Но теперь все чаще и чаще из жизни уходят мои боевые товарищи. И вскоре, подумал я, в живых не останется подлинных свидетелей и очевидцев, способных рассказать правду о той войне и опровергнуть вымыслы многих горе-историков, вешающих молодым людям на уши лапшу гуще той, которую придумывал сам министр нацистской пропаганды Геббельс. Именно это заставило меня обратиться к моим старым блокнотам и написать настоящую книгу.

Для начала своего повествования я решил взять последнюю страницу блокнота:

9 мая 1945 года. Берлин, Германия

Спустя неделю после капитуляции группировки немецко-фашистских войск в Берлине к зданию Рейхстага прибыла группа советских военных корреспондентов, получивших задание описать празднование Дня Победы. На площади перед Рейхстагом толпились тысячи солдат и офицеров, водка лилась рекой по случаю взятия столицы гитлеровской Германии. Среди прибывших газетчиков был и Борис Полевой – известный журналист из «Правды», автор «Повести о настоящем человеке». Главы из нее мы читали в каждом номере газеты, у красноармейцев эта повесть пользовалась большой популярностью.

Полевой перевел взгляд с ликующей толпы и с изумлением стал рассматривать стены Рейхстага. Перед ним были «автографы» солдат и офицеров Красной армии, штурмовавших Берлин. Их было много тысяч снаружи здания и внутри от пола до потолка. Солдаты писали и вырезали свои имена чем только было можно: в ход шли ножи, штыки, осколки снарядов, стреляные гильзы, краски, чернила, жидкая смола... Всем им хотелось оставить след, запечатлеть имена победителей немецко-фашистских агрессоров.

– Гляньте-ка! – воскликнул Полевой, увидев необычный автограф на восточной стене Рейхстага. – Что за чертовщина!

Текст был написан не славянской кириллицей, не армянским, грузинским, не узбекским или казахским шрифтом, а по-английски.

– Видали, а? – Полевой снова обратился к своим спутникам. – Как, вы думаете, этот янки оказался 2 мая в Берлине? Нам ведь говорили, что американцев или англичан тогда не было здесь, только наши.

Автограф, так удививший тогда Бориса Полевого, и не только его, был действительно странным. На стене Рейхстага было выведено:

Bethlehem, Pennsylvania, U.S.A. – Makeevka, Donbass, Ukraine – Aktyubinsk, Kazakhstan – Berlin, Germany.

2 May 1945 Nicholas

(Бетлехем, Пенсильвания, США – Макеевка, Донбасс, Украина – Актюбинск, Казахстан – Берлин, Германия.

2 мая 1945 Никлас)

– Бетлехем, Пенсильвания, США? – переспросил Полевой. – Не там ли крупный сталелитейный завод Америки? Может быть, этот американец приехал на Украину, чтобы строить такой же в Макеевке?

– Ну да, как многие иностранцы в 20—30-х годах, – подхватил другой корреспондент. – Шпионить. Слушайте, – продолжал он, – а ведь после Макеевки он оказался в Актюбинске. Не удивлюсь, если узнаю, что его сослали.

– Предположим, – сказал Полевой, – его выслали. Но как он оказался здесь, в Берлине, с Красной армией, 2 мая?

– Может, со штрафбатом? – предположил корреспондент.

– Возможно, возможно, – задумчиво молвил Полевой. – А все же, сдается мне, интересная история за этим автографом. Надо бы разыскать этого человека во что бы то ни стало.

Свидетелями этого разговора был я, мой начальник и другие офицеры отдела разведки 2-й гвардейской танковой армии.

– Почему бы тебе не сказать Борису Полевому, что ты являешься автором этого автографа? – спросил меня начальник.

– Боюсь, используют и извратят сюжет, – ответил я полушутливо. – Он мне самому когда-нибудь пригодится...

М.Дж. Никлас

Ньютон, Массачусетс Июнь 2009 г.

9 февраля 1943 года Московская военная спецшкола Центрального штаба партизанского движения

*Сороковые, мной не забытые, словно гвозди, в меня забитые...
Юрий Левитанский*

Сегодня в шесть утра радио передало добрую весть от Советского информбюро. Диктор Юрий Левитан знакомым всей стране баритоном сообщил, что советские войска Воронежского фронта под командованием генерала Ивана Черняховского двумя ударными группами полностью освободили старинный русский город Курск от немецко-фашистских захватчиков.

Оккупация города длилась 463 дня. За это время более 2 тысяч курян было замучено и застрелено немцами, 10 тысяч человек угнано на принудительные работы в Германию и еще столько же умерло в Курске от эпидемий и голода. Уходя из города, немцы сожгли или взорвали все многоэтажные жилые дома, здания мединститута и пединститута, все школы и библиотеки, Дома культуры, собор, театр и цирк.

Я вспомнил, как полтора года назад, в самом начале Великой Отечественной войны, я попытался попасть на фронт в качестве снайпера. На моем счету к тому времени было участие в двух командных первенствах старшекласников Совколонии (района Макеевки), а позже и самого города по стрельбе из мелкокалиберной винтовки и еще почетный знак «Ворошиловский стрелок». Я пришел в горвоенкомат с заявлением и удостоверением, как мне тогда казалось, настоящего снайпера, а также собственноручно заполненным личным листком по учету кадров. Со мной были мои верные друзья – Шурка, Борис и Толя.

Мы подошли к дежурному, подали ему свои документы и рассказали ему биографию Аркадия Гайдара. Он, едва заметно усмехнувшись, дал нам личные листки по учету кадров. Мы их заполнили, расписались, и он с нашими документами куда-то ушел. Вернувшись, всем, кроме меня, вернул документы и выдал повестки на медицинскую и какую-то «мандатную» комиссии, которые должны были определить, в какие военные училища можно нас направить.

– А мои документы где? – удивился я.

– Они у военкома майора Баева. Будете говорить с ним. Идите прямо по коридору. Последняя дверь справа.

– Счастливчик! – шепнул мне Шурка. – Тебя, как лучшего снайпера в Совколонии, направят, наверное, прямо на фронт; а нам – неизвестно, сколько в училищах еще торчат!

Подошел я к заветным дверям. Стучу. Молчок. Стучу громче. Снова молчок. Открываю дверь и вхожу в кабинет. Военком сидит и рассматривает какие-то документы. На столе слева от него горит настольная лампа с зеленым абажуром. Всю ночь, наверное, работал, бедняга, подумал я. Над ним на стене портрет Сталина, написанный маслом. На противоположной стене профили Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, написанные на холсте сухой краской врастирку. На столе справа от него бронзовый бюст Сталина. Сам военком весь в бумагах. На меня никакого внимания не обращает. Я громко кашлянул. Он поднял голову и посмотрел на меня с удивлением:

– Кто такой? Как здесь оказался?

Я доложил о себе по всей форме, как учил нас Гришка-бабник. Военком нашел на столе мои документы: паспорт, заявление, удостоверение ворошиловского стрелка и заполненный мною личный листок по учету кадров. Долго читал мой личный листок. Я обратил внимание

на его нос. «Он как у композитора Мусоргского на картине Репина: большой, красноватый и еще с темными крапинками», – отметил я.

– За границей родился?

– Так точно, товарищ майор!

– В Америке, значит?

– Так точно, товарищ майор, в Америке! Товарищ Сталин во вчерашней речи сказал, что на стороне СССР народы Европы и Америки...

– Родственники за границей имеются? – не дав мне закончить, спросил носатый военком.

– Имеются, товарищ майор! – ответил я и добавил, полагая, что это меня оправдывает согласно политике пролетарского интернационализма: – Моя старшая сестра Энн – национальный секретарь текстильных рабочих Америки! За профсоюзную деятельность ее намеревались сжечь на электрическом стуле в Атланте, штат Джорджия.

– В переписке с заграницей состоишь?

– Так точно, товарищ майор! Но только со старшей сестрой Энн по кличке Red Flame («Красное пламя»).

Я заметил, что каждый раз, когда я произносил «товарищ майор», его вроде бы передегивало. Я даже подумал, что может мне сказать: «Тамбовский волк тебе товарищ!»

Я ненамного ошибся.

– Забирай свои документы и мотай отседа. Красная армия не нуждается в иностранцах! – грубо произнес майор Баев.

Обозлившись на грубияна, я указал на профили «классиков марксизма-ленинизма»:

– Как же в таком случае прикажете мне понимать учение Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина о пролетарском интернационализме, товарищ майор? Почему в каждом номере газеты «Правда» на первой странице сверху мы видим призыв: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»? Вернусь домой и напишу товарищу Сталину письмо. И напишу ему, что товарищ майор Баев не совсем правильно понимает, к чему призывает всех газета «Правда».

– Что-что? Что ты, падла американская, сказал? Жаловаться на меня – майора Красной армии? – взорвался он. Его лицо при этом покрылось багровыми пятнами. Он встал с кресла и шагнул ко мне, положив правую руку на кобуру, из которой торчала ручка нагана. – Я сказал: забирай свои сраные документы и уябуй отседа к е... матери, пока я не сделал большую дыру в твоём американском черепке!

Мой Пап меня учил: если видишь, что тебе кто-то по-настоящему угрожает, – бей первым.

Я посмотрел на бронзового Сталина и подумал: «Вот если бы я успел схватить его и врезать военкому по носу, успеет ли он сделать дыру в моем американском черепке?»

Но здравый смысл взял верх над эмоциями. Вместо бюста Сталина я схватил свои документы и опрометью выскочил из Макеевского военкомата.

– Ну что, Ник, тебя шлют прямо на фронт? – спросили ждавшие меня ребята.

– Он настоящий враг народа! – выпалил я, трясаясь от негодования.

– Но-но, Ник, – произнес Шурка. – Ты с такими словами поосторожнее. Не то знаешь куда можно загреметь?

– Я все равно буду на фронте, – твердо заявил я. – Вот увидите!

Теперь я почти у цели. Благодаря случайной встрече (о которой я еще скажу ниже) со знаменитым писателем-орденоносцем Алексеем Николаевичем Толстым, замолвившим за меня словечко «где надо», меня направили на учебу не куда-нибудь, а в «специальную и совершенно секретную» школу диверсантов, располагавшуюся в центре Москвы.

В этой школе мы занимались по четырнадцать часов в сутки без выходных и без увольнительных: учились азбуке Морзе и владению телеграфным ключом и портативными радио-

станциями «Северок» и «Белка», стрельбе из различного советского и трофейного немецкого огнестрельного оружия, подрыву железнодорожных путей и мостов, вождению различных транспортных средств, прыжкам с парашютной вышки в Измайловском парке.

23 февраля 1943 года. День Красной армии и Военно-морского флота

По случаю празднования дня Красной армии наши занятия отменили. Всех курсантов заставили мыть полы, окна, стены, двери в аудиториях, комнатах, коридорах.

– К нам по случаю праздника, – озираясь, полусшепотом сообщил старшина, – на торжественное собрание приезжают высокие гости. Все должно сверкать.

– Кто приезжает?

– Это большой секрет! – ответил старшина.

Мы поняли, что он сам не знает точно, кто к нам приезжает.

Уборкой 30-й аудитории вместе со мной занималась моя сокурсница, красивая девчонка Ада Рокоссовская. Ее фамилия была громкой и широко известной, так как генерал Константин Константинович Рокоссовский был участником разгрома немецко-фашистских войск под Москвой и затем командующим Донским фронтом в Сталинградской битве. Он лично пленил и разоружил немецкого фельдмаршала Паулюса. Но Ада никогда не говорила мне, что она родственница генерала. Я думал, что вряд ли такой известный генерал, как Рокоссовский, отдал бы свою дочь или просто родственницу учиться в особо опасной и секретной партизанской школе, как наша. Если кто-либо спрашивал Аду, не родственница ли она Рокоссовского, она отвечала коротко и просто: «Мы однофамильцы».

А во время уборки 30-й аудитории она спросила меня:

– Вальс-бостон вечером станцуем?

– С тобой, Ада, – всегда с огромным удовольствием! – обрадовался я.

Вечерами по воскресеньям у нас в большом актовом зале устраивали танцы. Парней в школе было много, а девочек мало. Чтобы привлечь к себе внимание Ады, я рассказал ей как-то все, что знал о вальсе-бостоне и о его авторе. О том, что танец появился на свет в 1872 году в американском городе Бостоне, куда из Вены на гастроли в Америку приехал всемирно известный король вальсов Иоганн Штраус. В Советском Союзе музыка Штрауса стала особенно популярной после того, как в 1940 году на экранах страны с ошеломляющим успехом прошел американский фильм «Большой вальс» с участием Фернана Гравея в роли Штрауса, Милицы Корьюс в роли Карлы Доннер и Луизы Райнер в роли жены Штрауса.

– Фильм этот в Америке получил сразу три «Оскара», – с многозначительным выражением лица сообщил я Аде.

– Откуда ты все это знаешь? – спросила она.

– Мне об этом рассказала моя старшая сестра Энн. Она же меня научила танцевать танго и вальс-бостон. Да так здорово у меня стало получаться, что в начале июня 1941 года мы с моей одноклассницей и партнершей Инной Керн-Быковой завоевали первый приз. Это было на танцплощадке в Макеевке. Да, первый приз – именно за исполнение танго и вальса-бостона!

Я не сказал Аде, что Энн живет в Бостоне. В нашей партизанской школе вообще никто, кроме большого начальства, не должен был знать, что я родился и жил в Америке. Никто, кроме начальства школы, не знал, что по ночам меня иногда увозили на радиостанцию имени Коминтерна, которая в то время вела на английском языке передачи на Соединенные Штаты, Канаду и Великобританию. Там я кое-что рассказывал о советском партизанском движении.

К вечеру все помещения нашей школы на Садово-Кудринской снаружи и внутри сверкали чистотой. Ровно в 18.00 на сцене актового зала в президиуме появились вместе с нашим начальством маршал Ворошилов и герой Сталинградской битвы генерал Рокоссовский. Мы вскочили и долго аплодировали, пока Ворошилов жестами не усадил нас. Но когда в зале и на

сцене в президиуме все расселись по своим местам, мы с изумлением увидели между Ворошиловым и Рокоссовским нашу Аду! В зале сразу зашептали: «Смотрите, как они похожи. Это же дочь! Потому они к нам и приехали. Похожи, похожи...»

После торжественного собрания в зале все стулья раздвинули под стенки, возле больших зашторенных окон, и посредине зала образовалось пространство с до блеска натертым паркетным полом.

Ворошилов, Рокоссовский и Ада вместе с нашим школьным начальством сели в первом ряду на противоположной стороне от меня и группы наших курсантов – посмотреть, на что мы гожи в бальных танцах. Затем произошло самое удивительное.

Как только из динамиков послышались первые звуки венского вальса и в центре зала появились первые кружащиеся в ритме пары, генерал Рокоссовский поднялся во весь свой двухметровый рост, расправил широкие плечи и, чуть наклонив голову, протянул руку дочери. Она встала, сделала что-то наподобие книксена, и они, к изумлению всех присутствующих, грациозно вошли в круг уже начавших танцевать.

По тому, как они закружились в вальсе, стало ясно, что танцуют они вальс вместе не впервые. Генерал Рокоссовский вел свою «даму», как настоящий многоопытный кавалер. На это обратили внимание все. Мне подумалось: будь генерал не в своей ладно сидящей на нем военной форме, а во фраке и Ада в настоящем бальном платье, эта пара покорила бы и жюри, и публику любого международного конкурса бальных танцев.

Прозвучали последние аккорды вальса, и Рокоссовский проводил Аду и потом, снова чуть склонив голову, сел с ней рядом. Они обнялись и поцеловались. В зале раздались аплодисменты. Всем нам преподали прекрасный урок этики и эстетики.

Понятно, что после того первого вальса никто из наших курсантов, включая меня, не осмеливался подойти к Аде и пригласить ее на очередные фокстроты, танго, румбы и вальсы. Я смотрел издали на девушку, на Ворошилова и Рокоссовского и, грешным делом, мечтал о том, чтобы наши высокие гости поскорее (до окончания вечера) покинули школу, а у меня появилась бы возможность станцевать с Адой наш любимый вальс-бостон. «Мечты мои, мечты мои...»

И вдруг из репродукторов прозвучали знакомые нотки нашего любимого с Адой вальса-бостона. Ада, вероятно, сказала что-то смешное отцу и Ворошилову, и они рассмеялись. Она встала и через весь зал направилась в мою сторону. Ко мне или не ко мне? Когда между нами оставалось около двух метров, она протянула мне руку, сомнения мои отпали, и я шагнул к ней навстречу.

Она прижалась ко мне так тесно, что у меня закружилась голова, как от бокала шампанского. Так у меня бывало с моей макеевской партнершей Инной Керн-Быковой во время исполнения танго или вальса-бостона. Она тоже любила во время этих танцев приближаться ко мне очень, даже, пожалуй, слишком близко...

В конце этого вечера начальство школы и Ада проводили наших высоких гостей до проходной, от которой вокруг наших зданий шел высокий забор с колючей проволокой.

После проводов гостей мы с Адой встретились при погашенном свете на лестничной площадке между женским и мужским общежитиями, где она впервые поцеловала меня так, что у меня захватило дух и я боялся задохнуться. Так страстно меня еще никто не целовал. Я решил ответить тем же. Набрал полные легкие воздуха и стал так крепко ее целовать, да так, что Ада едва не потеряла сознание.

Если бы нас застукал на площадке дежурный офицер, то наказал бы и ее и меня. Но, вопреки всему, за первыми двумя поцелуями последовали еще и еще, и мы продолжали дарить их друг другу до головокружения...

10 апреля 1943 года. Госпиталь в Пушкино

Лежу в палате выздоравливающих. Пытаюсь вспомнить и записать, как все было. С чего все началось?

На наши практические занятия в той части Измайловского парка, которая была абсолютно закрытой для посторонних лиц, появился совершенно незнакомый всем нам гражданский. Высокий, стройный, по-военному подтянутый. Он был одет в козий кожушок, шапку-ушанку и валенки. На руках у него были перчатки явно не советского производства. Скорее всего, американские или немецкие. Человек этот показался мне похожим на моего директора кинотеатра «Культ-Фронт» в Актюбинске. У него было такое же широкоскулое, мужественное лицо и острый взгляд. Мой директор до войны был летчиком-истребителем. А этот кто?

Незнакомец внимательно присматривался к нашим прыжкам с вышки и к тому, как мы готовили и затем подрывали учебный отрезок железнодорожного полотна. Отрезок пути, кстати, каждый раз заново прокладывали специально для наших практических занятий по подрывному делу. Мы пытались спрашивать нашего старшину, кто этот гражданский, но в ответ видели лишь указательный палец у губ и слышали что-то наподобие «тсы-с-с!». Мы поняли, что старшина и сам не знает, кто этот гражданский и почему он здесь.

На следующий день меня и еще двух курсантов нашего взвода вызвал к себе начальник школы полковник Стрельцов. У него в кабинете сидел вчерашний гость, которого нам представили Александром Петровичем, он без лишних слов приступил к делу:

– Я вчера видел, кто и как из вас прыгает с вышки, как приземляется, кто и как по-пластунски полз к железнодорожному полотну, как закладывал и маскировал взрывчатку. Одни словом, вы трое показали вполне достойные результаты. Полковник Стрельцов рассказал мне, кто из вас и как владеет советским и немецким оружием, как владеете рацией. Вы трое мне подходите... точнее – подойдете, если скажете, что готовы сегодня же ночью вместе со мной отправиться в тыл врага.

Теперь мы поняли, что перед нами – командир партизанского отряда!

Наш ответ прозвучал почти хором:

– Так точно, готовы!

Начальник школы полковник Стрельцов и Александр Петрович переглянулись и улыбнулись.

– Что я вам говорил? – произнес Стрельцов.

– Лады! – сказал Александр Петрович. – Школу покидаем через пятнадцать минут после отбоя, когда все, кроме дежурных офицеров, будут уже спать. Учтите чрезвычайно важное предупреждение: ни с кем, ни о чем не делиться, ни словом не говорить об уходе на задание. Письма не писать, все документы, личные вещи и фотографии сегодня же сдать в школьный сейф.

– А также напишите на листе бумаги и сдайте мне лично до вечерней поверки, кому и по какому адресу каждый месяц ваши шестьсот рублей... посылать... ежели что, – добавил наш начальник школы. Он посмотрел на нас внимательно и строго, потом спросил: – Вопросы или пожелания есть?

Вопросов у нас не было. А пожелание у меня лично было взять с нами на задание Аду-Адусю. Но высказать это вслух я не осмелился. Наверное, этот вопрос, подумал я, им пришлось бы согласовывать с ее отцом-генералом.

В полночь в закрытом американском «Виллисе» Центрального штаба партизанского движения нас четверых – троих курсантов и Александра Петровича – повезли от Планетария на Садово-Кудринской в сторону Калужской и далее в западном направлении. Через

несколько суток комбинированного пеше-автомобильного марша мы оказались за линией фронта.

Нам дали сутки, чтобы отдохнуть и обустроиться.

Досыта выспавшись, стали знакомиться с жизнью партизанского отряда. Расспрашивали о том о сем мужчин и женщин, молодых и старых. Каждый рассказывал свою историю о том, как и почему он оказался в партизанском отряде.

В общении с партизанами я убедился в том, что АП (так в отряде звали Александра Петровича) пользуется уважением в отряде. В целом же жизнь партизан была тяжелой, и это было видно во всем: в суровые морозы они ютились в землянках, жили впроголодь. Их жизнь была, по сути, ежедневной игрой со смертью. Сейчас, когда я вспоминаю те дни, мне на ум приходит строчка из Хемингуэя: «Мужчины, никогда прежде не воевавшие, не умевшие обращаться с оружием, хотевшие лишь получить еду и работу, продолжали сражаться». Это и про наших партизан тоже.

На следующий день – было три часа пополудни – АП позвал нас, троих добровольцев, к себе.

– Сейчас ложитесь поспите, – сказал он, – а в девять вечера пойдете со мной на всю ночь. Предстоит важное задание. Холодает, к вечеру может быть до минус сорока. Проверьте обмотки и валенки. Все должно быть совершенно сухим.

Как состояние обуви и обмоток может быть связано с важностью ночного задания? Это я понял, увы, с опозданием.

Спать мы не пошли, я никогда днем не ложился даже подремать. Нам было гораздо интересней походить втроем по лагерю, посмотреть, как живет отряд. Увидели нескольких мужчин, недавно вернувшихся в лагерь и теперь чинивших свои овчинные тулупы. Скорее всего, они повредили их, пролезая под колючей проволокой. Другая группа людей (среди них – две женщины) готовилась к выходу на очередное задание; эти партизаны тщательно осматривали свои обувь и оружие. На кухне стряпали две поварахи. Неподалеку от кухни, на опушке, стоял тщательно замаскированный самолет – «кукурузник-этажерка», предназначенный в мирное время для обработки посевов. На таких еще учились пилотировать курсанты летных школ. И это в партизанском отряде! В лесу! Никому из нас даже не снилось подобное!

Интересно, он летает? Или просто здесь ржавеет? – недоумевали мы. Подойдя поближе, мы увидели в кабине старика. На коленях он держал новехонький советский автомат.

– Вы – летчик? Летаете на этом самолете? – спросил я.

– Да не-ет, – отвечал старик. – Пилот отсыпается после ночного вылета. А я – часовой. Сторожу, значит, днем самолет.

– Часовой? А почему вы нас не остановили?

– Так вы ж свои, вчера приехали с Александром Петровичем...

– И куда же летает эта «птичка»? – спросил один из нас. – Если не секрет.

– А летает она по ночам, – сказал часовой. – Днем мессеры ее легко собьют. Знаете, а ведь эта «птичка» спасла немало жизней. Она перевозит больных и раненых партизан через линию фронта в тыловые госпитали, а возвращается со свежими газетами, журналами и почтой. И еще с новенькими автоматами.

АП не говорил нам, что в отряде есть биплан для перевозки раненых. Впрочем, с какой стати ему было сообщать нам об этом?

Время шло, быстро холодало, было уже 25 градусов ниже нуля. Ночь грозила быть очень холодной, видать, готовилась «угостить» нас трескучим морозом. Но откладывать наше задание никто не собирался.

Мы оделись в стеганные ватные телогрейки и такие же штаны, после чего стали похожи на обычных селян. Натянули на ноги валенки с меховой оторочкой, под валенками были обмотки из шерстяной фланели. Каждому из нас выдали тонкий белый маскхалат с капюшоном на тот случай, если понадобится стать незаметным на снегу.

Опустив клапаны на ушанках из кроличьего меха, в девять вечера вышли на лыжах из лагеря. Несли взрывчатку, телефонный провод, и у каждого был такой же новенький автомат, как и у сторожившего «кукурузник» часового.

Никто не задавал лишних вопросов о том, что именно и где мы будем взрывать. Через два часа подошли к железной дороге. Только тогда АП сообщил, что, согласно разведанным, сегодня здесь между двумя и тремя ночи должен пройти на Орел немецкий воинский эшелон. Состоит он из тридцати теплушек с солдатами и множества платформ с новыми бронетранспортерами и танками. Длина поезда, сообщил АП, 500 метров. Взрывчатку нужно заложить вдоль полотна в пяти местах, на равном расстоянии друг от друга, и длина заминированного участка должна составлять полкилометра. Заряды, подсоединенные к одной подрывной машине, должны сработать одновременно. Предстояло все сделать так, как нас учили в Москве.

Работали мы быстро, всё успели подготовить вовремя. Затем залегли в снег и стали ждать появления эшелона.

– Когда состав окажется между первым и последним зарядом, замкнем цепь и взорвем путь. Все ясно? Потом быстро вернемся в лагерь, – сказал Александр Петрович.

– А если за нами погонятся? – спросил один из нас.

– О преследователях позаботились, – ответил АП. – На опушке леса наши люди заложили противопехотные мины.

Пока мы шли на лыжах, двигались, то мороза практически не чувствовали. Другое дело, когда приходилось лежать в снегу. Холод пробирался под тулупы, проникал в валенки. Мне казалось, что мои ступни и пальцы ног исколоты иголками.

Дождались трех ночи, а эшелона все не было. Прождали еще два часа, почти до рассвета, но безрезультатно. Наконец АП решил, что либо он получил неверные сведения, либо эшелон остановлен из-за сильного мороза.

– Придется возвращаться в лагерь. Дождемся новых сведений от нашего связного, – сказал он и приказал убрать из-под полотна взрывчатку и смотать провод.

Покалывания и боли в ногах я больше не чувствовал. Попробовал встать, но ноги отказывались слушаться и словно одеревенели. Я не мог ступить и шагу. АП сразу все понял и сказал:

– Ничего, парень. Вот дело сделаем и займемся тобой.

Ошеломленный, я неподвижно лежал и смотрел на то, как мои друзья заканчивают работу без меня. И это все? А какие благородные были у меня порывы! Я чувствовал себя абсолютно беспомощным. Я – обуза для моих боевых товарищей! Мелькнула мысль: из такого положения есть лишь один выход. АП, видно, догадался о ходе моих мыслей и отобрал у меня пистолет, нож и автомат. Мои друзья смастерили из маскхалата волокушу и по очереди дотащили меня до лагеря.

Седая санитарка разместила меня в теплой землянке, стащила с меня валенки, внимательно осмотрела мои ступни, обернула каждую кусками толстого ватина, приготовила большую кружку травяного чая. Я выпил его и заснул.

Проснулся, когда уже начинало темнеть. В землянку вошел АП.

– Какая стадия? – спросил он санитарку.

– Поверхностное обморожение, – ответила она.

– Волдыри есть?

– Есть несколько штук.

– Кожа какого цвета?

– Ступни обморожены, чувствительность отсутствует, цвет кожи восковой. Надо везти его в Пушкино, и как можно скорее. Там знают, что делать.

– Мамаша, – обратился я к ней как можно вежливее; я был потрясен, – речь идет об ампутации?

– Нет-нет, не об этом, сынок, – успокоила она меня. – В Пушкине есть госпиталь для партизан. Там умеют лечить обморожения. Недели через три-четыре будешь плясать.

– Ну, счастливо, парень. Увидимся после победы, – сказал АП и вышел из землянки.

Добрая санитарка дала мне еще кружку с теплым питьем, и через несколько минут я снова уснул.

Наутро я проснулся уже в Пушкине, в госпитальной палате. Лежал в кровати с мягкими подушками, чистыми простынями и теплым одеялом.

Через три недели интенсивного лечения я уже ходил без костылей, и не только по коридорам госпиталя, но и вокруг здания. Главврач пообещал, что меня выпишут со дня на день.

– Как думаете, меня примут обратно на курсы? – спросил я его.

– Вчера мы говорили о тебе с полковником Стрельцовым, – ответил главврач. – Тебе уже взяли билет на поезд Москва – Актюбинск.

Спорить было бесполезно. Итак, меня хотят отправить обратно в Казахстан. Я недоумевал: как же так, я могу самостоятельно ходить, но меня считают непригодным к службе. Как быть? Что мне делать?

Я не спал всю ночь. Утром меня выписали и на электричке отправили в Москву. К этому времени в моей голове созрел новый план. Ладно, думал я, не все пропало. Так дело не пойдет, дорогие товарищи! Разве можно со мной так – после того, чему я учился в Актюбинске и военном училище под руководством полковника Стрельцова?! Да я соберу свои пожитки, порву ваш билет до Актюбинска, в Москве пойду в военкомат и попрошусь на фронт с первым же эшелонном. Попрошу, чтобы отправили меня на Курскую дугу, на Центральный фронт, которым командует генерал Рокоссовский, отец Ады. Уж кому-кому, а ему-то обученные солдаты нужны позарез!..А вдруг попросят показать паспорт? – подумал я. Ведь там на первой же странице черным по белому написано, что я родился в Соединенных Штатах. В военкомате, увидев, что я американец, откажут – так же, как уже отказали однажды в Макеевке. Решено!

Приехав утром в Москву, я вошел в первый попавшийся общественный туалет, изорвал свой паспорт на мелкие куски и выбросил. Прощай, американец! Я родился не в США, а в Макеевке! Кто проверит? Макеевка на территории, оккупированной фашистами. Я готов бить фашистов! Имею право? Имею!

На улице Горького, неподалеку от Белорусского вокзала мне на глаза попала вывеска: «Фрунзенский райвоенкомат г. Москвы». Вошел, рассказал дежурному военному с двумя «кубарями» в петлицах свою легенду и отрапортовал, мол, готов хоть сегодня отбыть добровольцем на фронт с любой маршевой ротой или маршевым батальоном. А вот ночевать мне негде: дом разбомбили. Показал значок «Ворошиловский стрелок» и удостоверение к нему. Офицер взял их и пошел к военкому. Вскоре вернулся и спросил:

– Фото есть?

– Конечно! – ответил я.

Через полчаса мне вручили красноармейскую книжку с приличной, сделанной еще в Актюбинске фотокарточкой, где я был с чубом и тонкими усиками. В книжке записали: «Доброволец-снайпер». Никаких «США» и в помине не осталось. Нерусский акцент? С Украины. Имя Никлас? Мама родом из Прибалтики. «Все путем!» – сказали бы в Макеевке.

Мне и другим новобранцам выдали форму: штаны и гимнастерки, ботинки, портянки, обмотки, шинели, пилотки, вещевые мешки, в них – НЗ (неприкосновенный запас): два боль-

ших черных сухаря, один десятисантиметровый кусок дочерна закопченной колбасы и два сухих, как камень, брикета-кирпича из перловой крупы. Из них, я знал, можно в котелке сварить две порции «кондэра», то есть перловой каши. Выдали солдатские книжки.

Все призывники были парнями моего возраста. Они рассказывали о себе. Ни у кого из них, как и у всех тогдашних сельских жителей, работников советских колхозов и совхозов, оказалось, не было паспортов вообще. Они им были просто не положены. Я рассказал свою легенду. Говорил в основном о Макеевке, о городском районе Совколония – все эти места я неплохо знал. Теперь-то, радовался я, не будут меня дразнить мерзопакостной частушкой, как было с тех пор, как наша семья приехала из Америки в СССР. Частушка была немудреной, но обидной:

Один американец
Засунул в ж... палец
И вытащил оттуда
Говна четыре пуда.

Вариант этого «шедевра»:

Один американец
Засунул в ж... палец.
И думает, что он
Заводит граммофон.

Идиотской песенкой меня изводили пацаны в Совколонии – по дороге в школу и обратно, пока я не стал носить с собой в школу мамин кухонный нож. Эти частушки «пели» вслед мне, моим братьям, отцу и маме не только в Украине. Мне их «исполняли» и в России, и даже в Казахстане. Я пытался понять, откуда в СССР такое презрительное, казалось мне, отношение к Америке и американцам? Возможно, из-за частушки из фильма «Волга-Волга»? В фильме 1938 года герой пел:

Америка России подарила пароход.
Две трубы, колеса сзади
И ужасно, и ужасно, и ужасно тихий ход!

...К 5 часам вечера 13 апреля в школе собралось около 600 человек новобранцев. Никто из них, кроме меня, не был добровольцем, все они были мобилизованы. И когда я кому-то из них сказал, что я доброволец, на меня посмотрели немного странно. Я решил больше не открываться на эту тему.

Все 600 новобранцев были надлежащим образом оформлены. В 7 часов вечера наш батальон построили в маршевую колонну и повели «пёхом» от Белорусской площади до Курского вокзала. Для меня и моих ног это расстояние казалось ужасно длинным. Шли по проезжей части улицы, а по тротуарам следом за нами двигалась небольшая группа женщин, девушек и мальчишек – родственники новобранцев, отправлявшихся на фронт. Этим людям хотелось насмотреться на своих близких, возможно в последний раз...

На платформе у длинного состава из теплушек я стал свидетелем грустных сцен прощания новобранцев со своими родными и близкими. Уезжающие держались как могли, а провожающие, никого не стесняясь, рыдали. Я смотрел на этих людей и думал: а что, если бы здесь оказалась Ада-Адуся, как бы я ей объяснил, что со мной произошло, почему я так

внезапно исчез из нашей школы, как и почему я оказался в этой маршевой роте... И жалко, а вместе с тем и хорошо, что ее здесь не было, думал я.

Рядом со мной стоял паренек с гитарой за спиной. Его обнимала очаровательная девушка. Они целовались. Казалось, никак, никогда не смогут расстаться. В ее глазах стояли слезы, но было в них и еще что-то, что я не сразу понял. Она смотрела на него с восхищением. Влюбленные...

Прозвучала наконец команда «По вагонам!!!», и новобранцы стали заполнять теплушки. Толпа отпрянула, и поезд медленно двинулся вдоль перрона на юг. Парень с гитарой оказался в нашем вагоне.

До Подольска все мы сидели в нашей теплушке молча, на полу и на верхних полках, усталых старой, может быть, позапрошлогодней соломой. Но после Подольска, когда все поняли, что нас везут на юг, паренек взял гитару, прозвучало несколько аккордов... И вдруг он запел негромким, но чистым голосом.

Это была песня на известные всем нам стихи Константина Симонова, посвященные звезде советского экрана Валентине Серовой.

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди.
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара.
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

Слова брали за душу. Это потрясающей глубины и сердечности стихотворение Константина Симонова после публикации в «Правде» в 1942 году лежало, наверное, в нагрудном кармане у каждого фронтовика от рядового солдата до маршала. Его учили наизусть и повторяли в письмах с передовой. Его знали и в отряде Александра Петровича. Со словами все было ясно, но – мелодия! Мелодия, которую пел паренек с гитарой, нам очень понравилась.

За время жизни в Советском Союзе я узнал и полюбил музыку замечательных композиторов. Первой из всех была «Песня о встречном» Шостаковича, потом песни Дунаевского и Блантера, Фрадкина и Шамо, Богословского и Колмановского. Кто же был автором этой? Я спросил паренька, когда он закончил петь:

– Скажи, а кто автор мелодии, Дунаевский или Фрадкин?

Парень опустил глаза и тихо произнес:

– Я...

Несколько человек, включая меня, чуть не хором переспросили:

– Что? Что ты сказал?

– Это моя мелодия, – так же тихо и скромно ответил парень.

– Как тебя зовут? – спросил я.

– Родители и моя зазноба в Гнесинке – вы ее видели, на перроне – зовут меня так: Сашок.

– Спой нам еще что-нибудь свое, Сашок, – попросил его кто-то со второй полки.

Сашок подумал немного и сказал:

– Эти слова вы все хорошо знаете, но вместо мелодии, которая у всех вас на слуху, я сочинил свою.

И он запел песню, слова которой всем нам были давно известны, но музыку мы слышали впервые:

Дан приказ ему на запад,
Ей в другую сторону.
Уходили комсомольцы
На Гражданскую войну.
Уходили, расставаясь,
Покидая чудный край.
Ты мне что-нибудь, родная,
На прощанье пожелай.
И родная отвечала:
«Я желаю всей душой,
Если смерти, то мгновенной,
Если раны – небольшой»

– Потрясающе! – воскликнул кто-то.

Я был полностью согласен с такой оценкой.

Похоже, подумал я, с нами в теплушке едет на фронт будущий великий композитор. Не случайно его приняли в известное Гнесинское училище. Может, зря его отпустили на фронт, человека такого редкого таланта? Слушая замечательные мелодии и стихи в исполнении Сашка, мы и думать забыли о том, в каких неудобных, мягко говоря, условиях едем и не знаем точно, куда, на какой из южных фронтов нас везут.

В центре теплушки была железная печурка. По бокам – три полки. Первая – чуть выше пола; вторая – повыше; и третья под потолком. Двадцать пять человек по одну сторону, по другую – столько же. Печка не топилась. При таком количестве людей в этом весьма ограниченном пространстве и апрельской погоде затапливать печурку не было смысла.

Нам повезло. За всю ночь наш эшелон ни разу не попал под бомбежку. На рассвете остановились на небольшой станции. Сашок отложил гитару, выглянул из вагона и воскликнул:

– Ух ты! Это же мой родной город, это Елец! Вон там наш дом, а это – речка Сосна. – Он произнес название речки с ударением на первый слог. – Мы летом всегда приходили на Сосну ловить рыбу и купаться. Вода здесь до войны всегда была чистой и холодной. Знаете, ребята, ведь Елец, – продолжал Сашок, – это один из самых старых русских городов. Когда-то здесь была крепость, она защищала Россию от набегов половцев. А в XIV веке эту крепость все-таки взял Тамерлан...

Я понял, что Сашок – не только одаренный композитор и исполнитель замечательных песен, но еще и любознательный, начитанный парень. Если командование соединения, в которое мы поступаем, не возьмет Сашка во фронтową ансамбль песни и танца, думал я, то совершит большую ошибку. Ведь песни Сашка подняли наше настроение, а значит, и боевой дух. Я, благодаря ему, на какое-то время забыл о боли в ногах. Будь бы моя воля, я бы без сомнений определил Сашка в ансамбль Александрова. Его место там, а не на передовой, где может с ходу погибнуть такой талант.

В 6 часов утра командир маршевого батальона, майор Фастов, объявил, что наш эшелон простоит здесь до вечера и двинется дальше, как только небо начнет темнеть. Мы вышли

из вагонов, стали собирать сухие ветки, какие-то деревяшки, чтобы развести костер и приготовить завтрак. Вдруг Сашок закричал что было сил:

– Мама! Мамуся! Мамочка!

После этих криков он ошалело помчался через поле к женщине, которая появилась из-за домишек, стоявших на окраине Ельца, и теперь спешила к нему навстречу с протянутыми вперед руками.

Мы с изумлением наблюдали эту сцену. Возгласы Сашка удивили новобранцев, которые в это время выбирались из теплушек эшелона. Очень нежно, но при этом почти по-детски обращался сын к матери.

Потом Сашок рассказал нам, что мама всю неделю приходила на этот елецкий полустанок, осматривая все останавливавшиеся здесь эшелоны – в надежде встретить сына. И вот сегодня ей, наконец, несказанно повезло. Сашок из Москвы отправил ей письмо, где писал, что поедет на фронт, но точной даты не знал и не был уверен, что эшелон по пути окажется здесь. Но вот как все удачно сошлось.

Мать и сын сидели, обнявшись и разговаривая, на скамье у последнего домишки на окраине Ельца, примерно в 800 метрах от поляны, на которой новобранцы со всех вагонов разводили костры и в принесенной с полустанка воде варили в новеньких блестящих котелках «кондёр» из своих НЗ-брикетов.

Кстати, кроме каши, нам разрешили съесть по сухарю и половину той самой, твердой как камень, колбасы. Чай, заваренный все в том же котелке, из которых перед этим ели «кондёр», был с ароматом каши, но и ему были рады.

В середине дня майор Фастов собрал весь батальон и рассказал нам, как вести себя в случае налета вражеской авиации в дневное и в ночное время.

– Вам всем следует бежать врассыпную и, услышав свист летящих бомб, бросаться на землю плашмя. Так вы сохраните себя от осколков, – объяснял майор, который наверняка сопровождал на фронт не один маршевый батальон и не один эшелон. И, кроме того, сам, надо полагать, не раз попадал под бомбежку. А стрелять по самолетам нам было совершенно нечем.

Как только стало темнеть, вновь раздалась команда: «По вагонам!» Буквально через пять минут поезд тронулся с места и стал быстро набирать скорость.

Среди новобранцев было немало тех, кто с трудом запрыгнул в теплушки уже на ходу. Эшелон уже мчался на полной скорости, а Сашка нашего не было. На нарах лежала лишь его гитара. Мы надеялись, что он все же успел вскочить в один из последних вагонов и присоединится к нам на первой же остановке в пути. «Не дай бог нашему Сашку отстать от эшелона», – говорили ребята. Еще бы! В Москве нас предупредили, что отставшие от эшелона могут предстать перед военным трибуналом как дезертиры.

Эшелон теперь двигался уже не на юг, а строго на запад. А там, по моим расчетам, Курск, Центральный фронт, которым, как сказала мне 23 февраля Ада, командовал ее отец, генерал-полковник Константин Рокоссовский. Неужели до самого Курска не будет больше ни одной остановки? «Неужели до самого Курска мы не услышим ни одной песни нашего друга-композитора Сашка?» – записал я в ту тревожную ночь в своем блокноте.

15 апреля 1943 года. Курск, железнодорожная станция

В очередной раз, как сказала бы моя мама, «с Божией помощью», ночь прошла без единого авианалета. Но на станции Курская мы увидели истинное лицо войны.

...Наш эшелон целый час стоял примерно в 10 или 15 километрах от станции, ожидая открытия семафора. Когда же мы прибыли в Курск, то поняли, что нам повезло. Мне показалось, что я оказался в разбомбленной Гернике, о которой знал по репродукции картины Пикассо. Изуродованные тела убитых людей и лошадей, искалеченные солдаты, кричавшие и стонавшие; бьющийся в предсмертных конвульсиях скот, гражданские и военные санитары, тащившие на носилках окровавленных людей.

Как рассказали нам очевидцы, за час до прибытия нашего состава, в 6.30 утра, начался полуторачасовой авианалет. Немецкие самолеты первой волны атаковали фугасными бомбами вагоны с пополнением, с лошадьми и скотом, платформы с боевой техникой. Второй волной над станцией пронеслись немецкие истребители-мессеры, расстреливая солдат, которые, рассредоточиваясь, отбежали от вагонов. Третья волна самолетов противника сбрасывала зажигательные бомбы, чтобы на путях запылало все, что могло гореть.

Но нас тоже ждало нелегкое испытание. Едва наш эшелон остановился и новобранцы вышли из вагонов, как вокруг снова раздалось: «Воздух! Воздух! Воздух!» Люди на станции и мы – прибывшие из Москвы новобранцы, как нас учили в Ельце, бросились бежать в разные стороны как можно дальше от нашего эшелона. Я, услышав над головой, как мне казалось, душераздирающий вой бомбы или бомб, бросился на сложенные штабелем старые прогнившие шпалы и словно влип в них. Обхватил голову руками, наивно полагая, что так смогу защитить ее от осколков. С тревогой следил за проносящимися надо мной самолетами с фашистскими крестами на боках; мне казалось, что все бомбы, которые они сбрасывали, летят напрямик на меня. Невозможно передать то ощущение: ты видишь, как прямо на тебя летят вражеские самолеты, а в руках нет никакого оружия, и ты не в траншее, окопе или бомбоубежище, а на совершенно открытом месте. Я ощущал, как от взрывов бомб подо мной содрогаются шпалы и сама земля. Впервые в жизни я горько пожалел о том, что толком не запомнил ни одной молитвы, которым старалась обучить меня моя дорогая мама. Я думал в тот момент: если меня здесь сразу разнесет в клочья одна из немецких бомб, значит, так тому и быть, но боже упаси остаться без руки, ноги, остаться на всю оставшуюся жизнь слепым или глухим.

Не помню точно, как долго длилась эта адская пытка. Она казалась мне бесконечной.

Тех, что остались после налета живыми, включая меня, было трудно узнать: куда девался наш юношеский задор, стремление поскорее оказаться на передовой? Все были перепачканные с головы до ног, перепуганные насмерть и оглохшие...

Когда нас наконец смогли собрать и построить неподалеку от горящего складского помещения, мы с ужасом узнали, что потеряли убитыми и тяжелоранеными примерно треть личного состава. Вскоре родители погибших 17- и 18-летних пареньков, подумал я, получат похоронки, в которых будет написано: «Ваш сын пал смертью храбрых в боях за Советскую Родину»...

Моя голова кружилась, сердце колотилось, мысли путались. Я какое-то время только и мог, что мысленно себе твердить: «Никто тебя не гнал в эту военную спецшколу из Актюбинска, никто не заставлял идти в партизанский отряд, и никто тебя после госпиталя не вынуждал избавляться от своего паспорта и бежать во Фрунзенский райвоенкомат записываться добровольцем. Ты сам этого хотел! Ты сам, глупый, к этому стремился с июня 1941 года.

Надо было оставаться в Актюбинске и спокойно рисовать афиши до самого конца этой проклятой войны, после чего на законном основании вернуться к себе на родину, в Америку!»

Неподалеку от нас стояли наши командиры и о чем-то горячо спорили. В нашем строю слышались злые, раздражительные реплики: «Какого хрена они нас держат возле этой чертовой станции?! У немцев здесь ведь наверняка полно шпионов-корректировщиков! Чем так стоять и ждать нового налета, надо быстрее валить отсюда!»

Наконец нам командовали «Шагом марш!» и повели от станции по улицам Курска. Вокруг были остовы домов с косо висящими кое-где балконами и горы битого кирпича. Мы видели пожилых женщин, стариков и детишек, копающихся в свалках в поисках того, что уцелело, – сковородок, металлических кроватей, обломков мебели, а может быть, и какой-нибудь еды.

Курск всегда был важным железнодорожным узлом, принимавшим эшелоны с войсками и техникой для Центрального фронта, и поэтому немцы бомбили станцию и днем и ночью.

Я прохожу по улицам твоим,
Где каждый камень – памятник героям.
Вот на фасаде надпись: «Отстоим!»
А сверху «р» добавлено: «Отстроим!»

Эти строки написал Самуил Маршак 9 февраля 1943 года, в день освобождения Курска... Но это будет потом... А я продолжу свой рассказ о апрельских событиях 43-го.

Один из парней нашего маршевого батальона, как оказалось, родился и жил в Курске до войны. Он произносил название своего родного города не так, как мы, а с протяжным «у-у». «Ку-у-урск». По его словам, до оккупации немцами в городе было 250 тысяч жителей. Но, проходя по улицам города, мы видели совсем немного гражданских людей.

16 апреля 1943 года. Утро в сосновом бору

Вчера вечером опять бомбили железнодорожную станцию. Мы находились километрах в десяти от нее, но мне всю ночь мерещились в полусне вопли, стоны и брань раненых, ржание лошадей и крики санитаров. Появлялся и Сашок со своей мамой...

В подвале было очень холодно, мы притащили туда с улицы автомобильные покрывала и жгли их всю ночь, чтобы хоть немного согреться. Спали все в густом черном дыму. Утром не могли узнать друг друга: лица у всех были покрыты слоем черной сажи. Все мы, включая командиров, были теперь похожи на макеевских шахтеров после шестичасовой смены в забое.

Сажу с лиц и рук смыли с трудом. После завтрака, состоявшего из одного черного сухаря, кусочка колбасы, брикета «кондэра» и котелка чая, объявили общее построение. Нашего Сашка никто не видел ни на станции, ни в подвале, ни при этом построении. Его гитару во время бомбежки наверняка разнесло вдребезги вместе с нашей теплушкой.

Колонной в четыре сотни человек мы двинулись за город в южном направлении. Молча и понуро прошли километров десять с одним привалом.

Наконец показался сосновый бор, где нас ожидала группа молодых санитарок в белых халатах и три пожилых санитар-парикмахера. Они стояли возле пяти дезкамер и примитивных душевых установок. Командовала этим хозяйством красивая девушка с роскошными волосами, в ладно пригнанной по фигуре офицерской форме с белыми медицинскими погонами на плечах. На погонах было по одной полоске и по одной малой звездочке, означавшей, что она младший лейтенант медицинской службы.

Всем нам, включая майора Фастова, она приказала (именно приказала) раздеться догола и сложить все, включая портянки, обмотки, обувь и даже вещмешки и пилотки, в дезкамеры, после чего выстроиться в очередь к парикмахерам. Те вскоре начали нас не просто стричь под нулёвку, но и брить те части тела, где росли волосы.

То, что во всех частях Красной армии вшей боялись как черт ладана, мне было понятно. Ведь во время Гражданской войны от вшей – прямых виновников страшного сыпного тифа – погибло больше миллиона красноармейцев и белогвардейцев. Из-за тифа по дороге с Кавказа в Москву умер один из самых талантливых американских военных журналистов и писателей – автор книги «Десять дней, которые потрясли мир» Джон Рид. (Кстати, когда мой Пап однажды в советской библиотеке попросил книгу Джона Рида на русском языке, то получил потрясший его ответ: «Разве вы, товарищ, не знаете, что эта книга запрещена к выдаче лично Иосифом Виссарионовичем?»)

Мы, оказывается, не просто завшивели в теплушках на старой соломе, мы еще, как оказалось, ухитрились завести на своем теле особых вшей, которых некоторые из нас называли «веселыми ребятами». Эти «веселые ребята» забирались повсюду, где у людей растут волосы. Вот и пришлось мне расстаться с моим чубом, тонкими модными усиками и даже бровями. Ну и на кого я стал похож? Подумать стыдно!

Сидя у парикмахера, я заметил на гимнастерке девушки, младшего лейтенанта медицинской службы, боевой ордена Красной Звезды и очень престижную солдатскую медаль «За отвагу». Невероятно! Я спросил у парикмахера, который меня «обрабатывал»:

– Что это у нее? За какие дела такие боевые награды?

– Она, парень, в битве под Сталинградом вытаскила из-под огня около сотни наших бойцов и командиров. Тяжело раненных. Награды эти ей генерал Рокоссовский вручал лично!

– До чего же она красивая! – не удержался я.

– Красавица, да не про твою честь, парень! Ты посмотри на тех боевых офицеров, которые за вами приехали на «Фордах». На груди у них целые иконостасы. Видишь, как они на нее заглядываются!

После парикмахера был ужасно холодный душ с миниатюрными кусочками хозяйственного мыла. Потом все мы, голые, сели на бревна и как замороженные, во все глаза глядели на младшего лейтенанта медицинской службы. Кого-то мне она напоминала – красавицу с такой же пышной прической, очаровательными очами и лицом краше, чем у Моны Лизы Леонардо да Винчи или Венеры Милосской. Я наконец вспомнил! Младший лейтенант медслужбы была копией самой яркой американской кинозвезды 30-х и начала 40-х годов – Дины Дурбин.

Мой старший брат Майк – художник – получал из Америки цветные журналы. В них были ее большие портреты. Появлялись они и на обложках голливудских журналов. Ее портреты были способны заморозить любого – от мала до велика, в полном смысле этого слова. Я помню, какое потрясающее впечатление одна ее большая цветная фотография производила на моего четырехмесячного племянника – Валерика. Если мы с ним в доме оставались одни и Валерик начинал плакать, то я, отложив занятия по русской грамматике, показывал ему большой цветной портрет Дины, – и он умолкал. Но как-то раз он сильно капризничал, и тогда я придумал, что надо сделать для того, чтобы он не мешал мне учить уроки (а делал я это лежа на диване). Я вырезал из журнала портрет Дины Дурбин, наклеил его на картонку, прикрепил его на веревочках над головкой Валерика, привязал к портрету леску, конец которой протянул к дивану и петелькой накинул себе на большой палец ноги; как только Валерик начинал орать, я шевелил большим пальцем, леска покачивала портрет Дины, и Валерик мгновенно засыпал. Голливудская дива оказывала на малыша прямо-таки магическое действие! И не только на него, на четырехмесячного ребенка. Я рисовал ее прекрасное лицо в своих тетрадях и учебниках, на классных досках и на стенах школы. Я влюбил в нее всех своих одноклассников в макеевской средней школе № 6: Шурку Воробьева, Вильку Любарского и многих других.

В сосновом бору южнее Курска, глядя на девушку – младшего лейтенанта медицинской службы, очень похожую на американскую кинозвезду Дину Дурбин, я вспомнил сон, который приснился мне в Макеевке, еще перед войной.

...Перед отъездом из Америки вся наша семья стояла на пристани Нью-Йорка и фотографировалась на фоне огромного четырехтрубного океанского лайнера «Мавритания», похожего на печально известный «Титаник». На мне был дорогой и необыкновенно красивый шерстяной светло-серый костюм-тройка: спортивного покроя пиджак, жилетка и бриджи; и еще: новая белая рубашка, черный галстук-бабочка и черные, похожие на лаковые полуботинки. Все это мне купили впервые в жизни за немалые по тем временам деньги: 10 долларов 99 центов. Для меня подобная одежда была пределом мечтаний, так как всю жизнь в Америке я носил только то, что Пап для меня перешивал после старших братьев Майка и Джона. И вот в то самое время, когда мы фотографировались, откуда-то появилась кинозвезда Дина Дурбин, подошла к нам и, глядя на меня, воскликнула:

– Боже мой, Никки, ты в этом одеянии смотришься на миллион долларов! Уверена, – оживленно продолжала она, – что в стране большевиков, куда вы собираетесь ехать на этой «Мавритании», все девчонки в красных косынках, увидев тебя в этом одеянии, будут у твоих ног!

Наконец из дезкамер мы получили свою униформу, мятую так, будто стадо коров всю ночь ее жевало. Одевшись, выстроились в длинную очередь на регистрацию к столу, за которым сидела она – советская Дина Дурбин.

Я стоял в очереди и мучительно искал способ обратить ее внимание на себя. Да, нелегко это было. Вся форма измята, чуба нет, усов нет, бровей тоже нет, уши торчат, как у барана...

Когда передо мной оставалось три человека, в мою бедную башку пришла блестящая идея: прежде чем очаровательная младший лейтенант поднимет на меня свои очи, я протяну ей свою красноармейскую книжку, где на фотографии, сделанной еще в Актюбинске, я выглядел сносно. Пускай сначала посмотрит, каким я был сравнительно недавно, а потом уже на меня оскубленного. Так я и поступил.

Она посмотрела на фотографию, на мое имя и произнесла:

– Никлас? Никлас... какое красивое имя!

Она подняла на меня глаза, и в голове у меня прозвучала строка из украинской песни, которую пел в Америке мой Пап: «Ой, очі, очі! Очі дівочі, дэ вы навчились зводити людей?» Я, честно говоря, никогда не думал, что имя мое красивое, хотя мне было еще в Америке известно, что последнего царя в России звали Nicholas II и что супруга императора Александра звала его как моя мама меня: Nicky.

Дина Дурбин, улыбаясь, спросила меня:

– Откуда у вас такое красивое имя?

Я расправил плечи, вытянулся по стойке «смирно», отдал честь и, щелкнув каблуками, отпартовал:

– От мамы и папы, товарищ гвардии младший лейтенант медицинской службы!

Она снова одарила меня своей божественной улыбкой и произнесла – негромко и мягко:

– Вольно. – Затем спросила: – Ваша гражданская специальность, Никлас?

– Художник, товарищ гвардии старший... Простите, товарищ гвардии младший лейтенант медицинской службы! – Потом добавил к сказанному: – Точнее, я был художником-рекламистом Актюбинского областного кинотеатра «Культ-Фронт», товарищ гвардии младший лейтенант медицинской службы! – А еще через секунду добавил: – Рисовал звезд советского кино: Любовь Орлову, Зою Федорову, Валентину Серову на огромных рекламных щитах, сделанных из фанеры.

Чарующе улыбаясь, советская Дина Дурбин спросила:

– А меня вы нарисуете, Никлас? – Она так мило произнесла мое имя, что я подумал: может быть, в Союзе оно действительно звучит чуть ли не царственно красиво?

– С огромным удовольствием, товарищ гвардии младший лейтенант медицинской службы, – ответил я. – Только скажите, где и когда.

В это время у меня мелькнула мысль: все, милая моя Дина! Ты, кажется, попалась!

В очереди товарищи мои занервничали.

– Я вас сама найду, Никлас, – тихо произнесла она. – Не сомневайтесь, Никлас, непременно найду!

17 апреля 1943 года. В лесах

Вчера мы прибыли в расположение танкового корпуса генерала Богданова, и здесь нас впервые накормили горячей перловой кашей с тушенкой. Какой же вкусной показалась нам эта еда! Ребята приговаривали: мол, ничего вкуснее в жизни не ели! Мне же эта тушенка напомнила мое американское детство. Что-то похожее на эту кашу бывало у нас иногда дома в Бетлехеме.

– Откуда такая вкусная тушенка? – спрашивали поваров ребята.

– А! Так это – «улыбка президента Рузвельта», – охотно отвечали повара.

Вот в чем дело! – обрадовался я. Это, значит, еще одно проявление действительной помощи Красной армии со стороны США и президента страны.

Ночевать нам предстояло в большом – и тоже американского производства – тенте. Ни кроватей, ни матрасов, ни печек в нем не было, лишь голая земля. И все же – лучше так, чем в маленьких палатках. Матрасами, подушками, простынями и одеялами нам стали вещмешки и шинели. Под головой – вещмешок, половина шинели – под тобой, половина – сверху, вот и все! Спать было холодно, как в том памятном курском подвале. Чтобы согреться, мы прижимались друг к другу плотно всей «шеренгой» из тридцати человек, и это помогало. Но если кто-то из крайних поворачивался на другой бок, то же самое приходилось делать и всем остальным. Так и поворачивались туда-сюда всю ночь. Причем не просыпаясь при этом. Интересный феномен!

После построения нам представили капитана Жихарева – командира разведтанковой роты в бригаде 9-го танкового корпуса под командованием генерала Богданова. На груди капитана Жихарева мы увидели гвардейский знак, два ордена Боевого Красного Знамени и два ордена Красной Звезды.

– Прошу внимания! – произнес он зычным командирским голосом. – Кто из вас желает служить в танковой разведке нашего соединения, три шага впе-р-ред!

Все стояли не шелохнувшись.

В чем дело? – поразился я. То ли не поняли, что было сказано четко и ясно, то ли... В теплушке все были такими храбрыми, а здесь, после первого крещения на станции Курская, у всех что – поджилки затряслись?

В тот момент мне подумалось: а если бы здесь, сейчас, перед нашим строем, находилась гвардии младший лейтенант медицинской службы с боевыми наградами на груди: «За отвагу» и «Красной Звездой» – и она смотрела на всех нас, – вышел бы кто-нибудь три шага вперед? Я вспомнил нашего Сашка и подумал: он бы наверняка вышел! Ведь одаренные люди вроде него не показывают страха. Такие, как Пушкин, Лермонтов, Есенин, Маяковский... и мой американский герой – Джо Хилл – всегда идут впереди...

Но что делать мне, который добровольно пошел в Московскую военную школу Центрального штаба партизанского движения? Ответ для меня был очевиден. Я сделал три шага вперед, повернулся лицом к строю и встал по стойке «смирно». Пристально смотрел в глаза оставшимся в строю. Выйдет еще кто-нибудь или нет?

Вышли еще два парня.

Капитан Жихарев подошел ко мне и спросил:

– Где проходил военную подготовку?

– В одной из московских военных школ, товарищ гвардии капитан! – доложил я по форме. О том, что это совсекретная партизанская школа, я сказать не мог – с меня взяли подписку о неразглашении.

– Рацией, ключом, морзянкой владеете? – Капитан задавал вопросы «в десятку».

– Так точно, товарищ гвардии капитан!

Он посмотрел на меня с уважением.

– Из танковых орудий стрелять приходилось?

– Немного, товарищ гвардии капитан!

– Возьмите в тенте свой вещмешок и садитесь на переднее сиденье моего «Виллиса».

Ясно? – Он посмотрел на тех двоих, что сделали три шага вперед из строя после меня, и приказал: – Вы тоже!

Капитан усадил их на заднее сиденье, меня – на переднее, рядом с собой. Включил зажигание, машина тронулась с места, и мы поехали в глубь леса, в расположение его разведроты.

В тот же день Жихарев назначил меня стрелком-радистом на одну из своих Т-34-76. Моими товарищами по экипажу стала забавная тройца: коротышка Николай Хромов – наш командир танка, долговязый сержант Федор Филиппов – механик-водитель по кличке Длинный, и Колобок – младший сержант Иван Кирпо, заряжающий.

18 мая 1943 года. Лес к западу от Курска

Где же ты, моя милая «советская Дина Дурбин»? Ты же обещала найти меня... На западе, в 60 километрах от нас – фронт, а в 20 километрах на востоке, у нас в тылу – Курск. Южнее, в 150 километрах – Белгород. Севернее, в 100 километрах – Орел. Странно: со стороны фронта на западе не слышно ни стрельбы, ни разрывов снарядов или бомб. А в тылу, со стороны Курска, почти каждую ночь доносится гул и грохот мощных взрывов. Нетрудно догадаться, что там чуть ли не каждую ночь немцы бомбят ту самую станцию, куда прибывают эшелоны с живой силой и техникой для Центрального фронта. Месяц назад мы прошли через этот ад, эту Гернику.

Моя сестра Энн написала нам из Америки в 1939 году о том, что ее муж Артур – американский доброволец, воевавший против фашистов в бригаде Авраама Линкольна в Испании, – видел прекрасную Гернику до того, как город разбомбили немецкие самолеты. Видел он и то, что от нее осталось после...

У нас – новобранцев, переживших бомбежку на станции Курская, – при воспоминании об увиденном сердце кровью обливалось. Ведь мы там потеряли треть нашего маршевого батальона – около двухсот мальчишек, не успевших даже нюхнуть пороха и сделать хоть один выстрел...

Все эти думы приходили мне в голову только утром и вечером, перед отбоем. Между завтраком и отбоем думать было невозможно. Руки, ноги, голова – от упражнений, занятий, дневных и ночных марш-бросков – все тело до такой степени уставало, что ни о чем, кроме дела, которым мы занимались, подумать было невозможно, никакой щелочки для посторонних мыслей не оставалось. И в таком напряженном режиме мы жили ежедневно полные 14 часов: усиленная зарядка, сборка и разборка, чистка и смазка спаренных пулеметов и откатного устройства 76-миллиметровой танковой пушки, проверка работы внутренней телефонной связи и обращение с ларингофонами, работа с телефонной радиосвязью на расстоянии 3, 5 и 10 километров, устранение обрыва гусеницы, замена траков, работа с топографическими картами и хождение по азимуту, практические стрельбы из танковых пулеметов и 76-миллиметровых орудий по движущимся целям на полигоне и, наконец, тактика танкового боя.

Мастером тактики был командир нашего взвода – гвардии старлей, одессит Олег Милюшев. Мы ему иногда пели: «Ты одессит, Милюш, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда-а! Ведь ты танкист, Милюш...» Он не обижался, ему нравилось любое воспоминание или простое упоминание о его родной Жемчужине у моря, как мне о Бетлехеме. У него на груди, кроме гвардейского знака, был, как и у нашего капитана Жихарева, орден Боевого Красного Знамени за битву под Москвой и орден Красной Звезды за Сталинград. Во время учебы по тактике боя он нам показывал слабые места немецких танков: гусеницы, катки, участки бортов.

– До прошлого года включительно, – говорил Милюшев, – мы могли из своих 76-миллиметровых орудий бронбойными снарядами прошивать башню любого немецкого танка насквозь. Они нас боялись. Но теперь они грозятся поставить на вооружение новые «Тигры», «Пантеры» и «Фердинанды». С ними сражаться с нашими 76-миллиметровыми орудиями будет наверняка куда сложнее. Нам теперь придется прятаться от их мощных орудий. Правда, они, говорят, не такие поворотливые, как наши Т-34, и не такие быстрые. Вот мы и должны научиться использовать эти преимущества.

Гвардии старлей Олег Милюшев был опытным командиром танкового взвода разведки. С ним всегда было интересно и полезно общаться, у него было чему поучиться. А нам нужно было осваивать технику, изучать тактику ведения танкового боя. Не менее трех раз в неделю нас поднимали глубокой ночью по тревоге, после чего мы шли на расстояние как минимум

3 километра в полной темноте: танковые экипажи впереди, а следом за нами мотопехота и десантники. Назывались эти броски «пеши по-танковому». Но мы их между собой называли «хождениями по мукам».

«Тяжело в учении – легко в бою», – повторял часто суворовское изречение капитан Жихарев. И потом добавлял свое: «Бои нам предстоят тоже невероятно трудные...»

– Сегодня, сразу после ужина, – объявил нам однажды капитан Жихарев, – политчас проведет помполит комбрига – майор Петровский!

Жихарев дал ему блестящую характеристику.

– Представьте себе, – сказал он, – до начала битвы под Москвой, когда масса известных ученых эвакуировалась из столицы в Среднюю Азию, профессор, доктор исторических наук Петровский идет в народное ополчение рядовым бойцом. Однако очень скоро командование назначает его политруком в строевую часть в звании старшего лейтенанта. В боях под Сталинградом он уже комиссар полка в звании майора; а теперь профессор Петровский – помполит нашей танковой бригады и, по моему мнению, лучший лектор-международник, которого я когда-либо слышал.

Профессор Петровский с первых минут своего выступления захватил всеобщее внимание четкостью, простотой и увлекательностью изложения довольно сложной ситуации.

Говорил он неторопливо и негромко, но так, чтобы его одинаково четко понимали все, кто его слушал: русские, белорусы, украинцы, узбеки, казахи, грузины, латыши и другие представители союзных республик.

– Что мы знаем сегодня о нашем противнике? – задал вопрос Петровский и сам же начал отвечать на него: – В листовках, которые мы находим в карманах военнопленных, сказано, что 15 апреля 1943 года фюрер подписал приказ о наступательной операции под названием «Цитадель». Противник намерен двумя мощными группировками с севера от Орла и с юга от Белгорода окружить советские войска, сосредоточенные вокруг Курска. Фюрер считает, что это будет немецкий реванш за поражение под Сталинградом... Предстоят нелегкие бои, и вот почему вы каждый день по четырнадцать часов усиленно готовитесь, товарищи танкисты-разведчики.

Когда Петровский спросил, есть ли вопросы, руку поднял один из наших механиков-водителей, старший сержант Орлов. Он был старше всех нас. Большинство из нас были 18-, 19- и 20-летними мальчишками, ему же было тогда под сорок. Кто-то из ребят мне рассказал, что перед войной он был чуть ли не капитаном, но по чьему-то навету его разжаловали до звания старшего сержанта.

Орлов задал вопрос Петровскому о втором фронте.

– Если я правильно понял, то вы, товарищ старший сержант, хотите услышать мое мнение о том, почему наши союзники до сих пор не открыли второй фронт?

– Так точно, товарищ майор, – ответил Орлов.

– Что ж... – Петровский вынул из кармана небольшую записную книжку. – Предлагаю вам послушать две цитаты. Первая принадлежит бывшему послу Соединенных Штатов в Германии Уильяму Додду: «Клика американских банкиров и промышленников склонна на смену нашему демократическому правительству привести в Америку фашистов. Она (эта клика) работает в тесном взаимодействии с фашистским режимом Германии...» А вот следующая... 24 июня 1941 года, спустя два дня после нападения Германии на СССР, газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала выступление американского сенатора Гарри Трумэна. Читаю: «Если мы увидим, что побеждает Германия, надо будет помогать России, а если будет побеждать Россия, то надо помогать Германии. И пусть они перебьют как можно больше своих солдат в этой войне».

Признаюсь: прочитанное вслух Петровским тогда поразило меня до глубины души. Да, думаю, и многих моих боевых товарищей тоже. Честно говоря, мне не верилось. Нет,

этого не может быть! – думал я. Да, конечно, американцы разные. Настоящим реакционером в моем родном городе был хозяин огромного металлургического завода «Бетлехем-Стилл» Чарли Шваб. Известно, что Генри Форд перед войной получил из рук Гитлера лично высшую награду Третьего рейха – какой-то фашистский крест. А знаменитый американский летчик, первым перелетевший через Атлантику на своем одномоторном самолете «Спирит оф Америка» и ставший после этого самым популярным человеком в начале 30-х годов XX века, уехал к Гитлеру, обучать немецких пилотов. Да, есть и такие. Но все же огромное большинство моих земляков совсем иные. Если выживу и вернусь на родину, зайду в Библиотеку конгресса США в Вашингтоне, найду тот номер газеты «Нью-Йорк таймс» и проверю, действительно ли сенатор Гарри Трумэн написал или сказал такую ужасную вещь».

Никто в нашей роте по-прежнему понятия не имел о том, что я – уроженец Соединенных Штатов Америки. Все считали меня парнем из Донбасса, а я помалкивал об Америке и о своей прежней учебе в совсекретной партизанской школе. Надолго ли это останется в тайне?

30 мая 1943 года. На берегах Сейма. Сашок

Никто не знал, по какому поводу и зачем организовали построение всех наших бригад и подразделений. Весь корпус построили огромной буквой «П», в 7–8 километрах от расположения нашей разведроты. Это было на большом, похожем на футбольное поле пространстве чуть южнее берега реки Сейм. Нашей роте указали место на правой нижней оконечности «буквы П». Впереди нашего танкового взвода стоял гвардии старлей Олег Милюшев. Рядом со мной оказался «старик», как мы его называли, – механик-водитель старший сержант Орлов. Он вдруг произнес негромко:

– Показательный расстрел.

– Кого? За что? Где? – вполголоса спросил я Орлова.

– Горку земли впереди нас видишь?

– Вижу.

– Впереди той горки земли яма. Сейчас кого-то привезут и поставят перед ямой, – сказал Орлов.

– Тихо! – обернувшись, приказал нам Милюшев.

Что это – расстрел «врага народа»? Но почему это надо делать на глазах десятка тысяч людей? Какое отношение имеет «враг народа» к нашему корпусу?

К яме подъехал грузовой американский «Форд», в котором было шесть человек: пять солдат с винтовками и один человек в нижнем белье, у которого руки были связаны веревкой. Спрыгнуть с «Форда» со связанными руками сам он не мог. Поэтому его, открыв задний борт грузовика, двое солдат сняли и поставили перед ямой. У солдат, как я заметил, окантовка на погонах была синей, что означало, что они – из Смерша. А в нижнем белье, очевидно, тот, кого Смерш собирается «показательно» расстреливать.

– А почему веревка, а не стальные наручники? – спросил я шепотом.

– Сталь нужна нашей стране для производства танков и пушек, – с ехидцей ответил Орлов тоже шепотом.

– А почему в исподнем и босиком? – продолжал я допытывать.

– Чтобы пулями не продырявить форму. Она еще вместе с его ботинками, портянками и обмотками пригодится для нового призывника.

– Понял... – сказал я. На душе моей становилось все тяжелее.

Из кабины «Форда» вышел офицер в звании капитана, тоже в погонах, окантованных синим. Капитан начал отдавать указания по подготовке казни.

Обреченный в исподнем был низкорослым худым пареньком, остриженным наголо и с лицом белым как мел. Когда он повернулся в нашу сторону, трое в нашей роте, включая меня, сразу его узнали.

– Сашок! – непроизвольно вырвалось у меня.

И тут же последовал чей-то грубый окрик:

– Молчать!!

– Товарищ гвардии старший лейтенант, – не выдержав, обратился я к командиру взвода. – Мы его знаем! Это же Сашок! Он талантливый композитор-песенник. За что его собираются расстрелять?

– Закрой рот и слушай приговор, – резко оборвал меня Милюшев.

Приказ командира – закон для подчиненного. Но заставить меня не думать взводный не мог. Мне вспомнилось, как Сашок в тускло освещенной теплушке играл на гитаре и пел свои чудесные, бравшие за душу песни. Вспомнил я и о том, как они с матерью бежали навстречу друг другу, вытянув руки для объятий. Тогда мама принесла сыну что-то вкусное, любимое, домашнее – несравнимое с нашим НЗ и «кондёр»... Они, мать и сын, казались. нет-нет,

не казались, а на самом деле были в тот день, 14 апреля 1943 года, 46 дней тому назад, на берегу речушки Сосны, такими счастливыми!..

Глядя на поникшего головой Сашка, я вспомнил еще и о том, как кто-то из нашей теплушки произнес, узнав, что парнишка не успел добежать и вскочить на подножку последнего вагона нашего эшелона: «Не дай ему бог попасть в руки заградотряда!» О том, что он бросился бежать и стремился во что бы то ни стало успеть за эшелон, я нисколько не сомневался.

– Почему ему не надели повязку на глаза? – спросил я Орлова.

– Еще чего захотел от нашего Смерша! – горько усмехнулся Орлов.

Тем временем в самом центре посредине буквы «П» послышалась команда: «Корпус, смирно!» А дальше прозвучало совершенно жуткое:

– Решением военного трибунала – по дезертиру и изменнику Родины. Огонь!

После залпа Сашок вздрогнул и потом медленно свалился в яму.

До сих пор убежден: расстрелянный паренек стал «дезертиром» случайно. Сашка попросту использовали, ни на секунду не задумавшись о том, что это был человек, талант, что могло случиться недоразумение.

У меня и у многих других в нашей разведроты до самого отбоя было тяжело на сердце. Мне перед сном вспомнились строки из Лермонтова:

Погиб поэт! – невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..

2 июня 1943 года. На стрельбах

Бедный Сашок! Мысли о нем и его казни не идут у меня из головы. С ними просыпаюсь, с ними засыпаю. Никогда не забуду Сашка! Виновато в его трагедии, безусловно, наше руководство маршевого батальона и машинист поезда. Могли дать минуты три – пять на то, чтобы все собрались, а не прыгали в теплушки эшелона на ходу, рискуя сорваться и попасть под колеса состава? Могли дать, но не дали. Мой Пап сказал бы о них: «Дурной поп их крестил». Вот кого следовало отдать под трибунал, а не нашего Сашка!

...Моего командира танка увезли с острой болью в области сердца и под лопаткой в санчасть. Гвардии старший лейтенант назначил меня исполняющим обязанности командира танка. А это значит, что сегодня поражать из танковой пушки движущиеся цели, изображающие немецкие «Тигры», «Пантеры» и «Фердинанды», будет впервые доверено мне. От меня потребуются максимальное внимание, сосредоточенность и сообразительность: ведь цели будут двигаться, а попадать я должен буду не в башню танка (их башни, сказали нам, из наших 76-миллиметровых орудий непробиваемы!), а в корпус.

Когда вот-вот должна была подойти моя очередь выходить на исходную позицию, я вспомнил, как в свое время сдавал норму на знак «Ворошиловский стрелок». «Дыши спокойно», – говорил мне тогда наш физрук, которого мы, мальчишки старших классов, называли «Гришка-бабник» потому, что он очень настойчиво во время упражнений на брусьях стремился поддерживать нашу одноклассницу Инку Сарычеву. И она, казалось нам, тоже была неравнодушной по отношению к Гришке-бабнику.

Вдали наконец появились вражеские машины. Двигались они быстрее, чем я предполагал.

Я целюсь, а они движутся. В моем распоряжении – три бронебойных снаряда. Их тоже трое. Целюсь в бок мишени, чуть ниже башни. Огонь! Все удачно: попал и в «Тигра», и в «Пантеру», и в «Фердинанда!». Слышу по радию, кажется, голос комкора:

– Молодец! – и через пару секунд тот же голос: – Кто стрелял?

– Новичок из Донбасса, ворошиловский стрелок. Рядовой, исполняет обязанности командира танка. – Это, несомненно, был голос капитана Жихарева.

Вечером, за полчаса до отбоя, к нам в землянку зашел Олег Милюшев с бутылкой водки.

– Ну, ты, брат, стрельбой своей фурур произвел! – произнес он с воодушевлением. – Комкор приказал присвоить тебе звание старшины и утвердить командиром танка Т-34. Это в его власти. (Я же подумал: знал бы комкор, что я американский доброволец, то дал бы он мне с ходу звание старшины и должность командира танка?) Капитан Жихарев за то, что я тебя выдвинул исполняющим обязанности, и мне благодарность объявил, – сказал Милюшев. Он ловко ударил своей мощной ладонью по дну бутылки так, что пробка пулей вылетела и ударилась в потолок землянки. Поставил бутылку на столик: – Экипажу моему! Вы, хлопчики мои, молодцы! За это полагается. Подставляйте свои алюминиевые кружки.

Что такое 500 граммов водки на пятерых? Так себе, не густо – дробинка для пневматички... Но, как говаривал мой батя, водка сближает и очеловечивает.

Эти 100 грамм на самом деле нас сблизили. Вряд ли, не приняв их на грудь, стал бы наш комвзвод делиться с нами своими наблюдениями.

Он рассказал нам много интересного о нашем комкоре, а также о генерале Рокоссовском – командующем войсками нашего Центрального фронта на северном фланге Курской дуги.

Рассказывал и о себе. Олег Милюшев родился и вырос в Одессе, в городе великих писателей, музыкантов, рассказчиков и... трепачей. Наш комвзвод оказался действительно

великолепным рассказчиком и человеком, влюбленным в свою дорогую Одессу, которую он называл Жемчужиной у моря. О ней он мог рассказывать сутками.

– А наш командир танкового корпуса – человек умный и смелый в бою, но грубый: рубит правду-матку с плеча, – рассказал нам Милюшев. – Во время боя он, например, может разъезжать в боевых порядках танков на своем открытом «Виллисе» и неградивых командиров танков ругать так: «Вашу в дугу мать!»

– Курскую дугу? – решил уточнить я с ехидцей.

– Нет! – вполне серьезно продолжал Милюшев. – Это у него давнишнее... ругательство такое. Говорят, еще с довоенного времени. За свою правду-матку в 37-м он пострадал: его оговорили, Ежов его арестовал, посадил, пытал, но он прошел через все это и не сломался.

А вообще-то, друзья, – продолжал комвзвода, – в 30-х годах таких случаев было немало. Знаете, почему? Вот моя точка зрения: многие начальники НКВД в республиках, областях и даже в городах и районах соревновались между собой, кто из них больше выловит у себя в районе, области, республике «врагов народа». Чем больше такой «улов», тем больше они получали орденов и повышений.

А как же Сталин, думал я, на все эти безобразия Ягоды и Ежова смотрел? Неужели он об этом не знал?

– А вы, товарищ гвардии старший лейтенант, – обратился к Милюшеву старший сержант Орлов, которого перевели в мой экипаж после того, как я стал исполняющим обязанности командира, – вы не боитесь вести разговор на эту тему?

Комвзвода взглянул на Орлова пытливо, а потом сказал:

– Все, о чем я говорю, было напечатано в «Правде». Вы что, Орлов, «Правду» не читаете?

– Читайте, когда ее нам приносят, – ответил Орлов, немного смутившись.

С разговора о нашем комкоре Олег Милюшев переключился на командующего Центральным фронтом Константина Рокоссовского:

– Я считаю, что среди всех восьми командующих фронтами Константин Константинович – самый талантливый и уважаемый солдатами и офицерами. Он никогда не кричит на подчиненных, никогда не матерится, никому не говорит «ты».

Милюшев рассказал нам, что после разгрома немцев под Москвой и Сталинградом портреты Рокоссовского появились во всех советских газетах и журналах, а также в прессе союзников. Из Англии и Америки к нему мешками стали приходиться письма, в основном от молодых женщин, которые по уши в него влюбились. Он в те годы был в расцвете сил – видный, высокий, спортивный, с мужественными чертами лица и доброй, обаятельной улыбкой.

В боях под Москвой он был тяжело ранен и лежал в одном из столичных госпиталей. Как-то раз в госпиталь приехала, чтобы выступить перед ранеными, Валентина Серова – звезда нашего кино. Константин Константинович лежал в отдельной палате, и не смог ее увидеть и послушать. К Серовой после выступления подошел главный врач госпиталя, сказал ей, кто лежит в отдельной палате, и попросил, чтобы она хотя бы на несколько минут зашла к Константину Константиновичу. Серова зашла к Рокоссовскому и пробыла у него не десять и не двадцать минут, а часа полтора – так интересно было ей говорить с легендарным генералом. А вернувшись домой, она честно призналась мужу – поэту Константину Симонову, который посвятил ей свое знаменитое произведение «Жди меня», что она всерьез влюбилась в Константина Рокоссовского.

– Простите, пожалуйста, товарищ гвардии старший лейтенант, могу я у вас спросить: откуда у вас сведения о мешках писем и о Валентине Серовой? – снова встрял неугомонный и дотошный Орлов.

Все с интересом ждали ответа Милюшева. Комвзвода ответил спокойно и убедительно, как бы не заметив язвительность:

– Дело в том, старший сержант, что я пользуюсь абсолютно точной информацией, которой со мной не по секрету, а в открытую делится мой школьный друг. Я говорю о человеке, с которым мы учились вместе с первого по десятый класс, а потом стали однокурсниками в танковом училище, – об Илье Руецком. Он уже капитан и адъютант Константина Константиновича. Понятно, да?

– Понятно, товарищ гвардии старший лейтенант. Спасибо! – ответил Орлов.

– Так вот, – продолжил свой рассказ Милюшев. – Выписали Константина Константиновича из госпиталя в Сталинград. Там он, вдали от Москвы, другую себе завел. Звал ее «птичкой». О ней тоже знаю. Она военврач, а звать ее Галина Васильевна Таланова.

Никто больше не задавал лишних вопросов, мы понимали: адъютант – самый надежный источник информации.

Не дай бог, попадетя на глаза Рокоссовскому очаровательная девушка моей мечты, советская Дина Дурбин, вдруг подумал я.

Милюшев ни слова не сказал о семье Рокоссовского. Может быть, он и не знал ничего об этом и об этих людях. Я же, хоть и принял свою порцию водки, промолчал о наших отношениях с Адой и о том, что она рассказывала мне о своем отце. По этому вопросу у меня было железное обоснование: на военных курсах я дал подписку о неразглашении любых сведений, касающихся моих преподавателей и однокашников.

Ретроспекция-1. Как все начиналось

«По-о-одь-ем!!!» – снова эта ненавистная команда. Но сразу после нее я услышал над своей головой самый приятный для меня мягкий девичий голос: «Никлас, Никлас. Какое красивое имя! Я ведь сказала вам, что сама вас найду! Помните? Это было там, в сосновом бору...» Мама не раз говорила мне:

– Если кто-то любит тебя, он по-особому произносит твое имя!

Я мгновенно вскочил на ноги и огляделся по сторонам. Галлюцинации? Вокруг меня, кроме членов моего экипажа, в землянке никого не было. Не свихнуться бы на почве любви до того, как начнутся настоящие боевые действия на Курской дуге.

Из репродуктора над нашей землянкой зазвучал голос Левитана: «От Советского информбюро... Сегодня, 22 июня, во вторую годовщину начала Великой Отечественной войны, противовоздушные силы Красной армии сбили в районе Курска более ста двадцати фашистских стервятников люфтваффе...»

Даже не верится, подумал я. Ведь совсем еще недавно, 15 апреля, наш эшелон на станции Курская бомбили фашистские самолеты, но я не увидел ни одного из них сбитым. Может быть, особо уважаемый мною президент Рузвельт прислал Красной армии какие-то особые зенитные установки?

После сводки Совинформбюро из репродуктора зазвучала знаменитая песня Александра:

...Вставай на смертный бой
С фашистской силой грозною,
С проклятою ордой...

Итак, за спиной – ровно два года войны. Где я был в самые первые ее дни?

Вскоре после выступления Сталина 3 июля 1941 года и моего неудачного визита к военному комиссару Макеевки майору Баеву, о котором я рассказал в начале книги, я оказался на железнодорожной станции с твердым желанием любым путем оказаться на фронте. Я решил ехать к моему дяде в Актюбинск, в надежде, что он поможет мне пристроиться в одно из военных училищ.

В день моего отъезда накрапывал мелкий дождь. Город как вымер – ни людей на улицах, ни машин, ни трамваев, ни милиции – никого.

Железнодорожная станция Унион находилась от нас в 3 километрах. Пришлось добираться до нее пешком с вещмешком за плечами. На станции – тоже ни души. Стоял лишь длинный состав железнодорожных платформ с оборудованием завода Кирова, который эвакуировали в Нижний Тагил. Впереди состава пополнял запас воды паровоз. Я подошел поближе к паровозу, и тут меня окликнул седовласый машинист:

– Эй, парень! Тебе на восток?

– На восток.

– Хочешь, возьму тебя кочегаром?

Я охотно согласился, так как никакого выбора у меня по сути не было.

Машинист показал мне, что и как делать, предложил спецовку. И я довольно быстро освоил нехитрые приемы забрасывания угля в ненасытную паровозную топку. Но спустя час меня бы и родная мать не узнала: я стал похожим на шахтера, поднявшегося после смены из забоя. Черная угольная пыль покрыла все лицо, шею, руки и всю спецовку.

– Тебя как звать, парень? – спросил машинист, когда я остановился на минуту вытереть пот и отдышаться.

– Никлас.

– Прибалт, что ли?

– Ну да, прибалт, – соврал я. Мало ли что он может подумать, скажи я ему, что имя это американское.

– А меня будешь называть Петровичем, – сказал машинист.

Но, обращаясь к нему, я решил прибавлять к «Петровичу» слово «дядя». Получалось немного смешно: «Дядя Петрович». Он не возражал, видимо предполагая, что так принято в Прибалтике.

Петрович оказался человеком, на мой взгляд, мудрым и немногословным. Расстояние, которое в мирное время заняло бы не более пяти часов, мы от макеевской станции Унион до станции Дебальцево преодолевали больше недели. Было много неожиданных остановок, мы пропускали военные составы, которые шли на запад, к фронту, и составы с эвакуированными людьми, ехавшими на восток. Мы видели, как те составы не раз бомбили немецкие пикирующие бомбардировщики и обстреливали «Мессершмитты» на бреющем полете.

По дороге пришлось голодать, ибо на станциях ничего съестного нельзя было купить ни за какие деньги.

Однажды ночью, остановившись у закрытого для нашего состава семафора перед станцией Дебальцево, мы увидели зарево пожара. Петрович, знавший эту дорогу как свои пять пальцев, сказал:

– Должно быть, немец разбомбил здешнюю тюрьму. Она от железной дороги в двух или трех километрах.

– А что с заключенными, дядя Петрович? – спросил я.

– Одни, наверное, погибли, другие – те, что уцелели, дали деру, кто на восток, а кто и на запад, к немцам.

Мы стояли в ожидании сигнала семафора около двух часов. За это время к нам «пожаловал» новый пассажир. Он, словно призрак, явился вроде бы из ниоткуда: мы обнаружили его сидящим на куче угля в тендере. На вид ему было лет около сорока. Судя по его внешности: борода, стрижка, татуировки на обеих руках, я сразу почему-то подумал, что он один из тех заключенных, которые, как сказал Петрович, дали деру на восток. На вопрос, откуда он, пришелец ответил:

– Чернорабочий с завода. Завод частично эвакуировали в сторону Сталинграда, а частично разбомбили. Разбомбили и общежитие вместе со всеми шмотками и документами. Я с трудом успел выскочить в чем был. Доберусь до Сталинграда, зарегистрируюсь в ихнем военкомате.

Услышав, что Петрович обращается ко мне, называя меня Никласом, пришелец удивился и спросил:

– Откуда такое имя?

– Так записано в моем свидетельстве о рождении, – ответил я.

– А меня зовут... Юлий Цезарь, – неожиданно заявил нам, криво усмехнувшись, пришелец.

– Как римского императора? – с усмешкой спросил Петрович.

– Век свободы не видать – правда! – ответил Юлий Цезарь.

– А отчество?

– Отчество? Отчество мое... Клеопатрович!

– Странно! – заметил я. – Цезарь – имя римское, а Клеопатра – египетское.

Заметив неладное, Цезарь быстро нашелся:

– Я тут ни при чем, век свободы не видать! Мать родная рассказала мне, что наш батюшка был в стельку пьян и держал в руках не именован славянский, а какую-то старую книжицу.

Мы с Петровичем переглянулись, поняв, что вешает нам лапшу на уши.

– Но ведь царица Египта была женщиной, – сказал я.

– А это никем не доказано, – возразил странный пришелец. – Ну бывают же Валентин и Валентина, Валерий и Валерия, Петр и Петра. Так и в Египте – Клеопатр и Клеопатра...

– Ладно, – сказал Петрович, – будем тебя звать «Клеопатрыч».

– Годится! – обрадовался Юлий Цезарь. – А шамовки какой у вас не найдется?

– Сами уж какой день голодные, – ответил Петрович. – Хочешь ехать с нами, Клеопатрыч, – давай Никласу помогай кочегарить.

– Годится, – снова сказал Клеопатрыч.

Невдалеке от одной из наших частых остановок под вечер мы увидели много пчелиных ульев. Петрович посмотрел на них, вздохнул и произнес:

– Был бы поблизости пасечник, могли бы купить у него сот.

Клеопатрыч вдруг сказал, поспешно спускаясь вниз:

– Мне похезать надо!

Прошло еще минут двадцать, семафор для нас открылся. Я посмотрел вниз: нет Клеопатрыча. Сказал об этом Петровичу. Он дал несколько гудков. Никто не отозвался.

– Дал, видно, деру наш Юлий Цезарь, – произнес Петрович.

И мы двинулись вперед. Следующий семафор встретился нам минут через двадцать, и Клеопатрыч вдруг появился. В руках он держал свою майку, чем-то наполненную.

– Живем! – воскликнул он, широко улыбаясь. – До самого Сталинграда теперь с голодухи копыта не откинем!

– Где был? Чего принес? – строго спросил Петрович.

– Доставал рамы с сотами и еле-еле успел запрыгнуть на ходу на последнюю платформу, – ответил Клеопатрыч, раскладывая пчелиные соты на три равные кучки, грамм по пятьсот каждая.

– Украл небось! – сердито произнес Петрович.

– Не-не! Ульи абсолютно безхозные. Немцу достанутся. А Сталин 3 июля говорил: ничего фашистам не оставлять!

Я подумал в тот момент: если он сидел в тюрьме, неужели заключенные слушали речь Сталина?

– Прошу, граждане-господа, угощайтесь! – продолжал тем временем Клеопатрыч. – Наша врачиха в... э-э... наша врачиха на заводе говорила нам, что жевать пчелиные соты очень полезно. Лечат любые желудочные и кишечные болезни.

– Да, верно, соты лечат, – подтвердил Петрович.

И мы с голодухи набросились на соты.

А часа через полтора мы с Петровичем испугались: неужели отравились? У нас на животах выступили крупные капли чего-то липкого.

Клеопатрыч увидел наши испуганные лица и рассмеялся: он задрал свою рубаху до самой шеи и шутиливо скомандовал:

– Делай как я! – В руке у него откуда-то взялась заточка. Он ею соскреб со своего живота крупные капли и слизнул их, соскреб еще и снова слизнул. – Чистый, стерильный мед! Не бойтесь! Врачиха говорила: так бывает, ежели на голодный желудок съешь много сот. Их надо жевать долго, сказала она нам. Теперь до самого Сталинграда будем жевать и слизывать, жевать и слизывать.

Станным и смешным человеком оказался этот Клеопатрыч. На одной остановке мы с ним вышли полежать на траве под лучами садившегося октябрьского солнца. И вышел у нас с ним примечательный разговор по душам.

– Вы в Сталинградском военкомате назовете себя тоже Юлием Клеопатровичем Цезарем? – спросил я его.

– Да ты что! – изумился он. – Да меня они там сразу за иностранного шпиона примут и посадят, как посадили в 37-м генерала Рокоссовского. Тот вроде бы шпионил сразу для японских и польских секретных служб. А почему? Лишь потому, что он родился в Варшаве и переписывался с сестрой, оставшейся там.

– Откуда у вас такие сведения о генерале Рокоссовском? – поинтересовался я.

– А мы... на нашем заводе... по беспроводному телефону узнавали о всех посадках раньше всех, кто был на воле.

– А ваш сгоревший завод был зоной, не так ли? – спросил я, глядя ему прямо в глаза.

– Тюряга! – сказал он, тяжело вздохнув.

– За что вас посадили?

– Вы про голод по всей Украине слыхали? – вопросом на вопрос ответил Клеопатрыч.

– Слыхал и сам кое-что видел и испытал – по дороге на Донбасс и в самой Макеевке.

– Ну вот. А посадили меня с моим подельником за мешок черного хлеба и немного денег. Мы взяли магазин и удрали потом в Красный Сулин. Думали – там народу много, затеряемся. Но нас там накрыли и дали десятку на двоих. Непонятно? По пятерке на брата.

– А зачем вам понадобилось вешать нам с Петровичем лапшу на уши с Юлием Цезарем, да еще с Клеопатрычем?

– Ты сказал, что тебя зовут Никласом. А я подумал: туфта! И решил тебя переплюнуть.

– И с пьяным батюшкой тоже?

– Про Юлия Цезаря и про царицу Клеопатру я прочел в сильно зачитанной книжонке Шекспира. Но наш сильно умный пахан сказал, что это все туфта, что сам Юлий Цезарь был пидором, а царь Египта – на самом деле Клеопатр и что Цезарь назвал царя Клеопатрой, чтоб в Риме у них не догадались. Сколько за это давали в Риме, наш ученый пахан нам не сказал, но, если бы их по этому делу поймали в СССР, они бы оба по закону, который подписал всесоюзный староста Калинин, схлопотали по десятке строгого.

– Интересный был у вас пахан, – сказал я.

Петрович дал два гудка. Семафор для нас открылся.

Мы двинулись дальше на восток.

В Сталинград на станцию Сортировочная прибыли утром. Душевно распрощались с Петровичем. Нашли какую-то районную баньку. Попарились, обмылись, Клеопатрыч сбрил черную «дикую» бороду. На трамвае поехали в центр Сталинграда.

Город раскинулся вдоль западного берега Волги-матушки километров на пятьдесят. Приехали мы с Клеопатрычем в центр к военкомату около полудня. Я тут же купил в киоске все московские газеты, чтобы узнать последние новости с фронтов. А Клеопатрыч направился, я бы сказал, довольно смело, напрямик в военкомат, попросив меня дожидаться его на скамье в скверике. Он пообещал мне помочь в речпорту устроиться на пароход, идущий вверх по Волге до Куйбышева. Оттуда, я был уверен, сяду на поезд Москва – Алма-Ата и через сутки или двое буду в Актюбинске.

За чтением газет два часа промчались незаметно. Время от времени я посматривал на военкомат. В него входили и выходили люди, главным образом военные. Один из них вдруг направился прямо ко мне. Он был рядовым в новой форме и армейских ботинках с обмотками. Подошел ко мне, встал по стойке «смирно» и доложил:

– Рядовой маршевой роты Иван Иванович Иванов с увольнительной до 17.00!

Я оторопело смотрел на него и лишь через пару минут узнал. Вскочив со скамейки, обрадованно воскликнул:

– Клеопатрыч?

– Был да сплыл Клеопатрыч! Идем в речпорт. По пути расскажу тебе кое-что.

Мы пошли, и он рассказал:

– Во всех военкоматах сейчас большой недобор. И каждый военком из кожи вон лезет, чтобы хотя бы приблизительно выполнить спущенную ему цифру. Сказал, что я с завода, который немец разбомбил, поверили. Сказал, что документы сгорели, тоже поверили. Сказал, что зовут Иваном Ивановичем Ивановым, – выдали красноармейскую книжку с круглой гербовой печатью. Смотри! – Он показал мне свою новенькую книжку и воскликнул: – Закон!

В речпорту меня ждала неприятная неожиданность: пассажирский пароход на Куйбышев ушел вверх по Волге час тому назад. А следующий будет или не будет через день. Но шустрый Клеопатрыч, или, вернее, теперь уже И.И. Иванов, сказал мне:

– Стой здесь, возле кассы, и никуда не отходи.

Он направился на пристань, где стояло несколько барж со скотом в ожидании буксира. Вскоре вернулся с каким-то типом сомнительной внешности, тоже с татуировками на пальцах.

– Я дал ему на бутылку водяры, и он тебя пристроит на одну из тех барж, что сегодня уходят на Куйбышев. Годится, Никлас?

Я подумал несколько секунд – минуту и ответил:

– Годится!

Я тепло попрощался с экс-Клеопатрычем и через пару дней, медленно двигаясь вверх по Волге на барже, отметил мысленно свой семнадцатый день рождения в обществе коров, коз, баранов и свиней.

В Куйбышеве без проблем купил билет в общий вагон на поезд Москва – Алма-Ата и, лежа на третьей полке, размышлял над своей судьбой, устраивающей со мной всякие злые и невероятно смешные штучки. В поезде у меня было время тщательно продумать мои действия в Актюбинске. Попрошу-ка я дядю Родиона устроить меня не в училище, а на краткосрочные курсы пулеметчиков-мотоциклистов, так чтобы через месяц-другой оказаться на передовой. Мне сказали, что такие курсы сейчас существуют во многих тыловых городах. Скажу дяде Родиону, чтобы он никому о моем американском прошлом не говорил и что свой паспорт я потерял во время бомбежки. Решено!

Ретроспекция-2. Знакомство с Алексеем Толстым

На станции Актюбинск (по моей телеграмме из Куйбышева) встретил меня мой родной дядюшка Родион. И – огородил меня новым выкрутасом, предложенным мне судьбой.

– ... Приличная зарплата тоже дело не последнее, – издалека начал дядя Родион, когда мы шли со станции домой. – А вообще-то свершилось чудо. Три дня назад в местной газете попало мне интересное объявление: кинотеатру – есть у нас такой на улице Ленина, «Культ-Фронт» называется, требуется художник, рисовать афиши. Я – сразу туда, мол, говорю: «Племянник мой приезжает из Америки. Он художник». Ну, думаю, директор на это клонет, – раз из Америки, значит, художник хороший. Короче говоря, тебя берут в штат и дали карточку на четыреста граммов хлеба в день. Так что это – дело решенное!

Я обратил внимание на то, что, рассказывая мне эти новости, мой дорогой дядя Родион лукаво улыбался. Мне при этом почему-то вспомнился Юлий Клеопатрыч, и я решил расставить все точки над *i*.

– Во-первых, дядя, – сказал я ему, – не профессиональный я художник, а самодеятельный; во-вторых, приехал я сейчас не из Америки, а с Донбасса; и, в-третьих, надеялся я, что вы меня пристроите в какое-то военное училище или по крайней мере на какие-то военные курсы, чтобы как можно скорее оказаться на фронте, на самой передовой.

– Это все мелочи, Никки: профессиональный, самодеятельный. Важна зарплата и 400 граммов хлеба; в Донбасс ты приехал прямо из Америки, и это святая правда; а на военные курсы я тебя со временем устрою.

Итак, планы мои рухнули. К величайшему разочарованию, вместо военного училища и настоящего фронта я оказываюсь на «Культ-Фронте». Ужас!

Я был огорчен и разочарован. Решил: как только придем к дяде Родиону, сяду и напишу письмо товарищу Сталину. Категорически заявлю, что мое место – на фронте, на передовой, а не в тылу чуть ли не за 3 тысячи километров от линии боевых действий. «Прошу Вас, товарищ Сталин, прислать в Актюбинск Вашего уполномоченного представителя, который проверит мои стрелковые способности и поможет мне записаться добровольцем в Красную армию. Необходимо, – напишу я, – чтобы все это произошло как можно скорее. В противном случае мне придется пробираться через всю Сибирь на Аляску. Там, в моей Америке, как снайпера, меня сразу же примут в морскую пехоту, и я получу возможность сражаться с ненавистными мне немецко-фашистскими агрессорами, но уже в рядах армии США...»

Дядя Родион жил в пригороде, на улице Московской, и его жилище, обнесенное забором двухметровой высоты, напоминало маленькую крепость. Что находилось во дворе, с улицы было не видно. Дом был одноэтажный. Под единой крышей, разделенные стенкой, находились жилые помещения и хозяйственные. В жилой части было три комнаты и кухня с печкой, достаточно большой, чтобы зимой на ней спать. Одну комнату занимали дядя Родион со своей женой Улитой, другую – их дочь Зина с годовалой Машей. Самая маленькая комната – два с половиной метра в длину и два в ширину – была приготовлена для меня. Находилась она между кухней и хозяйственной частью. Едва я вошел, как в ноздри ударил крепкий запах хлеба, тот самый, что сопровождал меня всю дорогу от Сталинграда до Куйбышева, на перевозившей скот барже.

Первым делом я написал и отправил письмо Сталину. Причем отправил его не по почте, а со станции, где проходил пассажирский поезд Алма-Ата – Москва. Это на тот случай, чтобы местный НКВД не задержал его здесь, в Актюбинске. Потом дядя Родион повел меня в здание самого кинотеатра «Культ-Фронт», на улице Ленина. Двор кинотеатра был окружен высоким деревянным забором. Во дворе была хатенка: художественная мастерская.

Директор, Александр Петрович, увидев меня, очень удивился. «Американского художника» он, видимо, представлял себе более солидным профессионалом, а перед ним стоял довольно странного вида парнишка. У директора было такое выражение лица, что, скорее всего, он подумал, что насчет «американца» дядя Родион, мягко говоря, загнул. Свой первый вопрос Александр Петрович задал мне не по-русски, а по-английски, но с сильным русским акцентом:

– Do you speak English? (Вы говорите по-английски?)

– Yes, sir, Alexander Petrovich! It's my native language. I'd love to. (Да, сэр, Александр Петрович, – ответил я по-английски. – Это мой родной язык, и я бы охотно...)

– No-no-no! (He-ne-ne!) Это слишком, слишком! – запротестовал Александр Петрович, перейдя на русский. – Слишком длинное предложение, слишком много незнакомых английских слов. Понятно?

Я перевел свою последнюю фразу на русский, и директор понимающе кивнул. Потом он представил меня четверем своим сотрудникам: Аде Викентьевне, бухгалтеру (в Актюбинск она прибыла из блокадного Ленинграда через Ладожское озеро – по Дороге жизни), Станиславу Войтеку, киномеханику из расконвоированных польских военнопленных, Татьяне Ивановне, кассиру, и одной билетерше. Все они вместе с директором трудились в одной комнате.

Моя мастерская находилась во дворе. Афиши предстояло писать на фанерных щитах размером полтора на два метра. Александр Петрович сразу же дал мне задание и велел приступить к работе.

В конце декабря моим художественным способностям предстояло пройти суровое испытание. Надо было сделать афишу для документального фильма «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой». Александр Петрович принес большую фотографию одного кадра, где Сталин стоял на Мавзолее Ленина и провожал части Красной армии, уходившие с Красной площади прямо на фронт, линия которого протянулась тогда всего в нескольких километрах от столицы. Было ясно, что если я оплошаю и, особенно, если товарищ Сталин получится непохожим, эта афиша станет моим последним «произведением» в этом кинотеатре. У меня не будет ни работы, ни этих 400 граммов хлеба, на которые так рассчитывал дядя Родион.

Я призвал на помощь весь свой опыт, наработанный на улицах Нью-Йорка в стремлении заработать на хлеб, и не ударил лицом в грязь. Сотрудники кинотеатра зашли ко мне в мастерскую посмотреть на готовую афишу. Тут же оказался и дядя Родион. Все в один голос воскликнули:

– Похож! Как похож-то! Ну прямо как живой!

Кассир Татьяна, считавшаяся местной красоткой, хлопала в ладоши громче всех и при этом орала: «Похож! Похож!» Могло показаться, что она радуется больше, чем дядя Родион. У него же камень с души свалился. Что бы он со мной делал в случае неудачи?! Где бы еще нашел мне работу с приличной зарплатой и этим ежедневным пайком – 400 граммов хлеба?

Зима 1941/42 года в Актюбинске выдалась холодная и голодная, ужасно морозная и завьюженная. Для местных учреждений и для массы эвакуированных не хватало работы, продовольствия, жилья и, что самое главное зимой в Казахстане, топлива: угля, дров, торфа и кизяка.

На улице температура была за минус 30 градусов; в кинотеатре – около нуля. После улицы в нем казалось тепло. А у меня в моей маленькой студии было тепло и уютно по-настоящему благодаря железной печурке, которую все называли буржуйкой. Я топил ее целыми днями. Иначе было нельзя – в противном случае краски, смешанные с горячо сваренным вонючим столярным клеем, твердели и не годились для работы.

Дядя Вася, завхоз кинотеатра, снабжал меня топливом: старыми досками, бывшими частью высокого забора. Через неделю после начала моей работы в кинотеатре ко мне в мастерскую зашла Татьяна Ивановна и попросила, чтобы я ее нарисовал с натуры. Нарисовал. Ей понравилось. Она попросила еще и еще.

Зимой и летом в середине дня ко мне в мастерскую обычно приходил дядя Родион и приносил мне кастрюльку пшенной каши, сваренной с кусочками тыквы. Раньше пшенную крупу и пшенную кашу я терпеть не мог, теперь же, будучи постоянно голодным, я ее съедал сразу. На доньшке кастрюли не оставалось ни одного зернышка. После обеда дядя Родион обыкновенно заводил примерно такую речь:

– Знаешь ли ты, дорогой мой племяш, что происходящее теперь в Актюбинске и Казахстане – еще не голодуха. Вот в 20-х и особенно в начале 30-х на Украине и здесь, в Казахстане, был настоящий голод. Заметь, это был намеренно организованный партией и правительством мор. В 31-м и 32-м у нас в Украине дело дошло до того, что в селах появились настоящие вандалы, мерзавцы, которые из умерших от голода детишек варили холодец и возили его на базары в города. Я, помнится, писал твоему батьке не раз: «У нас на хатах серп и молот, а в хатах – смерть и голод...» Да-да, смерть и голод хозяйничали на нашей милой Украине долго. Села опустели... Я говорил твоему батьке: «Сиди в Америке и не рыпайся, не привози сюда своих жену и сыновей». Но он меня не послушался, не поверил. И чего ему было не оставаться в Америке? Ну, скажи, чем вам там было плохо?!

Видно было, что дяде Родиону не дают покоя эти воспоминания. Я пытался с ним спорить:

– Чем плохо, спрашиваете, дядюшка? Я расскажу, чем было плохо в Штатах в годы Великой депрессии. О семнадцати миллионах безработных слышали? Про то, что их выбрасывали из собственных частных домов на улицу, слышали? Про то, что они по всей Америке жили летом и зимой в «гувервиллях» – поселках, где были хибары, сколоченные из деревянных ящиков, листов ржавой жести и фанеры, – слышали? О километровых очередях за миской чечевичного супа и чашкой черного, без молока и сахара кофе слышали? О том, что никакой помощи по безработице и в помине не было, слышали? Мой батько захотел организовать профсоюз в своем цеху на заводе «Бетлехем-Стилл». Так его хозяин завода – настоящий фашист, Чарли Шваб его зовут – с работы батьку уволил и еще внес в черный список, означавший, что нигде в Америке он не получит работу по специальности. Нас после этого выгнали из собственного дома на Восьмую улицу. Батьке нечем было заплатить последнюю тысячу долларов за наш дом в Бетлехеме, и мы переехали в Нью-Йорк, где мамин родственник устроил отца работать в многоквартирном доме на Манхэттене кочегаром. Отец получал за это лишь по одному доллару в день. И это для семьи из пяти человек, вместе с больной мамой без медицинской страховки. Вы, дядюшка, лучше не спрашивайте, почему миллионам американцев плохо жилось в богатейшей Америке. Знаете, на Бродвее я видел первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь» про советских беспризорников. Зрители после просмотра фильма говорили: «Подумаешь, нашли чем нас удивить! У нас в Штатах сотни тысяч беспризорных детей бродят по дорогам в поисках куска хлеба или где чего украсть. Взрослые бездомные разбивают в Нью-Йорке витрины магазинов, чтобы их забрали в тюрьмы. Там ведь бесплатная еда и ночлег». Все это, дядько мий ридный, происходило на моих собственных глазах!

Дядя Родион горестно вздыхал и переходил на свою излюбленную тему.

– Какого черта ты так стремишься попасть поскорее на фронт? – спрашивал он. Нередко при этом разговоре присутствовал его друг, донской козак по прозвищу дядя Вася (а по паспорту Степан Васильевич Талалаев; это он для моей буржуйки по ночам тырил доски от чужих заборов, чтобы я мог постоянно варить столярный клей и на нем разводить краску для рекламы).

– Почему ты готов воевать за эту Сэ-Сэ-Сэ-Рэ, за эту советскую власть? – грубо напали они на меня порой вместе.

Они оба не скрывали своей ненависти к власти и к Сталину, и я понимал почему. Во время Гражданской войны дядя Родион, как он мне сам рассказывал, служил в легендарном полку красной кавалерии Николая Щорса. Тот ведь был за «землю, волю и крашчюю долю» и против всех иностранных интервентов, против украинских буржуазных националистов и российских великодержавных шовинистов.

– Я Щорсу верил, – говорил дядя Родион. – Он был справедливый, умный и смелый командир. Мы все его любили.

В конце 1919-го за верную службу и героизм дядю Родиона наградили каким-то орденом. Щорс дал ему, что обещал: делянку земли и лошадь. Дядя на своей делянке выстроил дом, женился и, трудясь в поте лица, в конце 1920-х купил еще одну лошадь, еще одну корову, несколько овец, поросят, гусей и кур.

– И тут – нате вам: сталинская коллективизация. Большевики забрали все нажитое трудом и потом: и дом, и делянку, всю живность и сослали семью в этот богом забытый угол Сэ-Сэ-Сэ-Рэ под названием Казахстан.

То же самое примерно рассказал мне о себе и своей семье дядя Вася: раскулачили и отправили в казахстанскую ссылку. Оба они считали, что власть обманула и обобрала их.

– Какого черта ты стремишься на фронт воевать за эту власть? – спрашивал меня не раз дядя Родион.

Я же ему отвечал четко:

– Я хочу и буду воевать не за, а против, против немецко-фашистских агрессоров, которые угрожают своим нашествием не только странам всей Европы, но и моей родине – Соединенным Штатам Америки!

... Возвращаясь мысленно к февралю 1942 года, я часто вспоминаю удивительный эпизод, который оставил у меня глубокий след на всю жизнь. В то время как я, растянувшись на фанерном рекламном щите в мастерской, рисовал повторную рекламу кинофильма «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой», ко мне неожиданно вошел незнакомый человек. Он не был сотрудником кинотеатра, и я его в Актюбинске никогда раньше не встречал. На нем была потрясающей красоты белая дубленка с большим отложным воротником, дорожная пыжиковая шапка и унты, как у полярных летчиков. Он вошел ко мне с мороза, у него запотели очки. Он их снял и стал протирать большим белоснежным платком. Мне показалось, что очки у него в золотой оправе. Значит, он настоящий VIP (Very Important Person – Очень Важная Персона), подумал я. Надев очки, он взглянул на меня, лежавшего на полу, на рекламном щите, и обратился ко мне на английском языке, медленно подбирая слова:

– Можно у вас немного погреться?

– Да, сэр, – ответил ему я тоже по-английски. – Можете сесть на табуретку. Она у меня в мастерской единственная.

– В Актюбинске вы не первый человек, говорящий со мной на английском. Насколько я понимаю, акцент у вас американский. Так ведь?

– Да, вы правы. Я родился в США.

И тут меня осенило: он, должно быть, из Москвы, послан самим Сталиным, потому что первый его вопрос был о моем английском!

– Мне в кинотеатре сказали, что вы приехали сюда прямо из Нью-Йорка. Это верно? – спросил VIP.

– Прямо из Нью-Йорка наша семья приехала в Ленинград. Оттуда в Москву. Товарищ Орджоникидзе направил моего отца – сталевара завода «Бетлехем-Стилл» – в Макеевку на завод имени Кирова. А теперь я здесь, – рассказал ему я.

Он же меня прощупывает, изучает, подумал я. Сталин, наверное, показал ему два моих письма – от парня, приехавшего из Америки.

– И в каком же городе вы родились? – спросил мой странный гость.

– В Бетлехеме, графство Нортхемптон, штат Пенсильвания, – четко ответил я и рассказал кое-что о своем родном городе и о жизни в Нью-Йорке.

– Расскажите еще о вашей семье и о том, когда и как ваша семья сюда переехала. Можно поподробнее? – попросил VIP.

Теперь-то я уж был совершенно уверен, что он из Москвы, что это уполномоченный представитель.

– Хорошо, – согласился я. Было довольно странно, что за все время, пока я говорил, – а это продолжалось около часа, – он ни разу меня не перебил. Редкий оказался слушатель: весь внимание, сидел неподвижно, ловил каждое слово. Такого слушателя у меня еще не было.

– А где и когда вы овладели первыми русскими словами? – спросил он.

На такой вопрос отвечать мне было особенно приятно, я в Макеевке не раз рассказывал одноклассникам эту забавную историю. И я ее начал так, немного «литературно»:

– В девять утра четырехтрубный океанский лайнер «Мавритания» готовился отойти от причала в Нью-Йорке. Нарядные пассажиры стояли на самой верхней палубе. Был между ними и я – с родителями и двоими братьями. На мне был удивительной красоты элегантный светлосерый шерстяной костюм. Его мне купила мама на Пятой авеню в Нью-Йорке перед самым отъездом в страну большевиков – так в Америке все называли Советский Союз. Откровенно говоря, это был мой первый в жизни костюм. «Но если привезти тебя в «страну большевиков» в заношенной одежде, что они об Америке подумают?» – сказала мне мама перед отъездом.

Мой слушатель кивнул, и я продолжал:

– Провожали нас все наши нью-йоркские друзья и знакомые, и все восхищались моим дорогим костюмом. Представьте себе спортивный костюм-тройку: бриджи, жилет и пиджак. К ним прибавьте белоснежную рубашку, черный галстук-бабочку и черные, похожие на лаковые полуботинки!

Пароход пришел в Ленинград. Яркое светило июньское солнце, мы все были потрясены красотой города на Неве.

«Смотри, мам, – сказал я, – оказывается, большевики вовсе не разрушили все дворцы и церкви, как писали американские газеты. Видишь?»

«Слава богу, слава богу», – повторяла, крестясь, моя мама.

Пирс, к которому пришвартовался наш пароход, был разделен высоким ярко-красным деревянным забором на две части – для пассажиров и для грузов. У грузовой пристани стояла баржа, тоже ярко-красная. Молодые женщины и девушки выгружали из красной баржи красные же кирпичи. И головы у всех были повязаны тоже ярко-красными косынками. С фасада пятиэтажного здания на все это смотрел Сталин, портрет которого был написан разными оттенками опять-таки красного цвета.

«Ага! – воскликнул я, обращаясь к маме. – Теперь понятно, почему в американских газетах страну большевиков называют еще и Красной Россией! Потому что здесь все обожают красный цвет!»

Едва мы сошли на пирс, я подбежал к высокому красному деревянному забору и забрался на него, желая получше рассмотреть девушек в Красной России. Они остановились, разогнулись со своими кирпичами в руках и стали на меня глазеть, будто я какой-то циркач или инопланетянин. Все они мне улыбались и махали мне рукой. Я, конечно, понимал, что их потряс невиданной красоты костюм и черная бабочка.

Вдруг кто-то потянул меня за ногу. Это был мой Пап.

«Какого черта ты туда забрался?» – спросил он меня самым строгим тоном.

Я слез с красного забора и с удивлением спросил:

«А что в этом страшного? В Нью-Йорке я не на такие заборы залезал».

«Зачем залез на этот забор, я тебя спрашиваю?»

«Хотел получше рассмотреть русских девушек в красных косынках».

Пап ткнул указательным пальцем в картонное объявление, прикрепленное к красному забору, и сказал:

«Прочти это!»

«Ты что, Пап? Я же русского совсем не знаю, хотя здесь всего два каких-то слова и огромный восклицательный знак. Переведи, пожалуйста!»

«Тут сказано, что ты законченный болван», – сказал папа.

«Не может быть, Пап! Откуда им знать, болван я или нет? Ведь мы сошли с парохода всего несколько минут тому назад».

Стоявшие на пассажирской пристани люди – пограничники и таможенники – смотрели на меня и смеялись.

Мама, увидев меня, всплеснула руками и воскликнула:

«О господи милосердный! Что ты натворил, Никки?»

Я никак не мог понять, что я такого натворил. Что это пассажиры показывают на меня пальцами и хихикают?! Почему мама и Пап на меня так рассерчали?

«Сними свой измазанный масляной краской пиджак и посмотри на свои новые бриджи», – сказал Пап.

Я взглянул на бриджи и чуть не умер от потрясения и огорчения. И пиджак, и бриджи мои были вымазаны свежей ярко-красной масляной краской.

«Здесь написаны, – сказал Пап, – два русских слова, которые ты теперь запомнишь на всю оставшуюся жизнь: «Осторожно, окрашено!»

Это и были самые первые русские слова, выученные мною в Стране большевиков и Красной России.

Мой VIP расхохотался. Судя по выражению его лица и блеску глаз, рассказ ему понравился. Помнится, я тогда подумал: перед таким слушателем и посредственностью почувствует себя великим рассказчиком.

– Очень интересно. Ничего подобного не слышал, вы хороший рассказчик, – сказал он.

Его оценка мне польстила, и я сказал:

– Знаете, ваше лицо кажется мне знакомым. Не мог ли я рисовать ваш профиль на углу Бродвея и Пятьдесят седьмой улицы в начале 30-х?

– Нет, молодой человек, я никогда не бывал в Америке, – ответил он. – Вы могли видеть мои фото в газетах и даже в киножурналах. Я – Толстой.

– Что? Толстой? – Я невольно ахнул. – Граф?

– Граф, – с улыбкой подтвердил он.

– И писатель?

– И писатель, – снова улыбнулся он.

– Так я же видел ваш фильм на Бродвее, в Нью-Йорке! Все залы были переполнены! Ваш фильм шел с огромным успехом! Я сам посмотрел его несколько раз, причем бесплатно, так как я ваш фильм для кинотеатра рекламировал, бегая на Бродвее с афишей на картоне. Одна спереди, вторая сзади, как бутерброд.

– Интересно! А назывался-то фильм как? – спросил Толстой.

– Вы же сами знаете. «Война и мир»

Он хлопнул себя по коленям и захохотал. Он хохотал долго и заразительно. А я стоял в полном недоумении. Почему он хохочет? Что я не так сказал? Мой Пап – человек начитанный. Каждое воскресенье он посещал Севастопольскую городскую библиотеку, где слушал живьем Максима Горького и Куприна из Балаклавы. Мои дружки на Бродвее не знали, кто

автор «Войны и мира», а я знал. Мне Пап сказал: автор – известный русский писатель и граф Толстой. Так почему же он так хохочет? Что я неправильно сказал?

Он наконец увидел через свои очки в золотой оправе, что со мной творится неладное и я смущен. Перестал хохотать и сказал мне спокойно:

– Тот граф и писатель Толстой Лев Николаевич умер, когда вас, молодой человек, еще на свете не было. Я – Алексей Николаевич Толстой. «Аэлиту» или «Гиперболоид инженера Гарина» видели?

– Видел, конечно, – ответил я. – Здесь все фильмы я тоже смотрю бесплатно. Там рекламировал и здесь рекламирую... Вы младший брат того Толстого? Он Лев Николаевич, а вы Алексей Николаевич, верно?

– Нет-нет! Мы лишь дальние родственники. – Он расстегнул свою красивую дубленку, и я увидел на лацкане его пиджака орден Ленина. Я неожиданно вспомнил где-то прочитанное еще перед войной: «Лауреат Сталинской премии, писатель-орденоносец Алексей Николаевич Толстой». Вот, оказывается, какого уполномоченного товарищ Сталин ко мне прислал.

– Знаете что, – сказал я Толстому, – я тоже решил стать писателем.

Он удивленно поднял брови:

– Вот как?

Я немедленно развязал вещмешок, он как раз был при мне в мастерской, вынул из него 48-страничную общую тетрадь и подал ему:

– Тут один из моих детективов. Я написал его на английском. Если бы вы согласились его перевести на русский, то мы опубликовали бы его за двумя фамилиями: вашей и моей.

Едва я это произнес, как спохватился: «Ты что, идиот, сказал? Кто ты и кто он? Не понимаешь, тюха! Ты пока еще желторотый птенец, а он? Он советский граф, писатель-орденоносец, лауреат Сталинской премии. Ты с кем собираешься книжицу подписывать?» Но не показать ему свою 48-страничную тетрадку я уже не мог. Вынул из вещмешка и подал ему. Рука у меня при этом дрожала.

Толстой взял тетрадь, открыл на первой странице, прочел вслух название «Любовь и кровь». Усмехнулся. В том своем «детективе» я написал о кровавой войне полиции Чикаго и Нью-Йорка с гангстерами типа знаменитого Аль Капоне.

Толстой прочел пару страниц, а потом положил мою тетрадку на пол и сказал:

– По сравнению с вашими интересными и живыми экспромтами о Бетлехеме, о Нью-Йорке и о себе ЭТО, – он указал на тетрадку, лежавшую на полу, – никуда не годится. Нечем будет разжигать вашу буржуйку, используйте страницы тетради.

Что же такое он говорит? Я оцепенел. Столько дней и ночей ушло на этот рассказ! Несколько раз пришлось переписывать! И всякий раз, перечитывая его, я чувствовал, что от волнения и оттого, что мне нравится мое творчество, – мурашки по коже.

Я был ошеломлен, возмущен. Я чувствовал, как лицо мое наливается краской. Глаза наполнились слезами. Увидев выражение моего лица, Толстой все понял и решил меня подбодрить. Он по-доброму улыбнулся мне и сказал:

– А знаете что, мой юный друг? Экспромты, вами изложенные, достойны всяческой похвалы. – Толстой даже похлопал меня по плечу: – Вот вам мой дружеский совет: купите-ка себе в киоске кинотеатра пятикопеечные блокноты и запишите в них все, в точности так, как вы мне рассказывали. Можете добавить еще какие-то подробности. Носите с собой свои блокнотики и записывайте все значительное и очень интересное. Лет через десяток у вас соберется замечательная книга

Тут дверь в мастерскую отворилась, и вошел директор.

– Алексей Николаевич, – обратился он к Толстому, – в зале – аншлаг! Все ждут, хотят вас увидеть и послушать ваше выступление. Расскажите нам о разгроме немецко-фашистских войск под Москвой?

– Непременно.

– И несколько слов о Пёрл-Харборе скажете? – спросил директор.

– Да-да, разумеется, – ответил Толстой. Он встал с табуретки, застегнул дубленку и протянул мне руку со словами: – Ну-с, мой юный друг, желаю вам творческих успехов. Надеюсь когда-нибудь увидеть ваши зарисовки и воспоминания в опубликованном виде.

– Спасибо, – сказал я и, не удержавшись, спросил: – А как же мои письма товарищу Сталину?

На лице Толстого появилось выражение крайнего изумления, из чего я заключил, что мое предположение, будто он уполномочен Сталиным проверить, кто автор двух писем и какой такой он снайпер, были лишь плодом моей фантазии.

Толстой с Александром Петровичем ушли в кинотеатр, где собрался весь партийно-хозяйственный актив Актюбинска и области, а я остался в одиночестве предаваться раздумьям.

Это еще один сюрприз, уготованный мне судьбой. Казалось, все вокруг перевернулось с ног на голову. Удастся ли мне когда-нибудь снова твердо стать ногами на землю?

Едва отойдя от потрясения, я пошел в зрительный зал, сел в заднем ряду и прослушал выступление Алексея Николаевича Толстого. Оно оказалось очень интересным, значительным. В конце вечера я набрался храбрости подойти к нему и в двух словах, изложив содержание моих писем Сталину, попросил его, по возможности, помочь мне в решении моей проблемы уровня ни много ни мало, а – «быть или не быть?».

– Да, – сказал Толстой. – Проблема непростая. Встречусь с секретарями Актюбинской области, расскажу им о вас. Может быть, это вам как-то поможет, – пообещал он.

– Спасибо, – только и сумел я выдать из себя.

Ретроспекция-3. Рубиновые звезды Кремля

На следующий день никто мне не позвонил ни из обкома партии, ни из военкомата. Значит ли это, что Толстому не удалось поговорить обо мне в обкоме партии или с начальством военкомата? – терзался я неопределенностью. Может быть, забыл?.. Или в Актюбинском военкомате сидит такой же тупица, как майор Баев в Макеевке?

От таких мыслей настроение к концу дня стало препаршивым. Еще вчера летел домой к дяде Родиону как на крыльях. А сегодня – теряю надежду...

Но неожиданно через два дня меня вызвал первый секретарь Актюбинского обкома комсомола и сказал твердым, уверенным тоном:

– Мы вас зачислили в нашу комсомольско-молодежную военизированную школу мотоциклистов-автоматчиков и во всеобуч при нашем Актюбинском горвоенкомате. Месяца через три по результатам ваших успехов направим вас в Москву.

– Годится! – радостно ответил я, – так говаривал мой попутчик до Сталинграда, неповторимый Клеопатрыч.

До сих пор не знаю, кто в большей мере подействовал на секретарей Актюбинского обкома партии, обкома комсомола или руководителей горвоенкомата: Алексей Николаевич Толстой, мой дядюшка Родион, сжалившийся-таки надо мной и пообещавший задействовать свои знакомства, или... Ворошилов. Да, Климент Ефремович Ворошилов, – после того как он оскандалился в Ленинграде, его назначили ответственным за подготовку резервов для фронта. Летом 1942 года он инспектировал в районе формирующуюся для фронта Актюбинска казахстанскую дивизию (для простоты мы называли ее «казахской»). Я тогда командовал взводом и одновременно был заместителем командира роты во всеобуче Актюбинского горвоенкомата. В моем взводе было тридцать 35-летних казахов (казавшихся мне тогда старыми), которые совсем не знали русского языка. Я быстро освоил все команды на казахском языке и командовал ими по-казахски, за это они меня здорово зауважали.

Как раз нас построили. Я, как и было положено, стоял на шаг впереди своего взвода «пожилых» казахов. В момент, когда Ворошилов проходил мимо меня и обратил внимание на мою выправку, я, видимо неожиданно для него, громко и четко выпалил:

– Позвольте обратиться, товарищ Маршал Советского Союза, по личному вопросу!

– Я вас слушаю, – ответил он, бросив на меня вопросительный взгляд.

И я доложил ему то, что приготовил на случай встречи с ним:

– В 1935 году вы, товарищ маршал, в Москве беседовали с американкой – руководителем профсоюза текстильщиков Соединенных Штатов. Это была моя старшая сестра Энн. Я тоже американец, и меня поэтому до сих пор не берут на фронт, хотя я – ворошиловский стрелок и во всеобуче почти полгода командую взводом. Считаю, что мое место на фронте, а не здесь, в тылу. Но бюрократы до сих пор меня задерживают, товарищ Маршал Советского Союза! – закончил я скороговоркой.

Ворошилов обернулся к своему адъютанту (или порученцу) и приказал:

– Запишите данные этого комвзвода.

1 сентября 1942 года Актюбинский обком комсомола направил меня в Москву, в военную спецшколу № 3 Центрального штаба партизанского движения, расположенную на Садово-Кудринской улице в доме номер 9...

25 июня 1943 года. Встреча с генералом Рокоссовским

В полночь пронзительно завывла сирена.

– Боевая тревога! – крикнул комвзвода Милюшев.

В отличие от прежних, учебных тревог, которые у нас назывались маршами сквозь чистилище, эта тревога была по-настоящему боевой.

Всю ночь корпус двигался на северо-северо-запад в район станции Мало-Архангельская примерно в 80 километрах севернее и чуть западнее Курска. Вести танк в колонне ночью, не включая фар, и при этом не съехать с дороги в кювет было очень сложно. И хотя наш механик-водитель Орлов – мастер своего дела, но и ему езда чуть ли не в полной темноте давалась с трудом.

На рассвете капитан Жихарев дал приказ разведроту разместить танки в небольшой березовой рощице рядом с деревенским кладбищем. Мой танк оказался рядом с бывшим немецким блиндажом, недалеко от которого находились две свежие немецкие могилы. Они отличались от всех других могил кладбища высотой надгробного холма и крестами, сделанными из березы. Сверху крестов были немецкие стальные каски. Ни имен, ни фотографий, ничего, что позволило бы установить личности тех, кому принадлежали эти каски, не было. Отступавшим из-под Сталинграда немецким оккупантам было уже некогда делать таблички.

Ночной марш-бросок был тяжелым испытанием не только для механиков-водителей нашего танкового корпуса, но и для всех танковых и бронетранспортерных экипажей. Мы так все устали, так надеялись после бессонной ночи где-то на траве прилечь и как следует отоспаться. Но отоспаться поутру никому из нас не довелось.

Старлей Милюшев объявил приказ командующего Центральным фронтом на северном фасе Курской дуги генерала армии Рокоссовского: до вечера закопать танки в землю под самые башни, чтобы они стали «неприступными крепостями» для возможного вражеского наступления и, вместе с тем, чтобы наши танки могли поражать противника огнем из своих орудий и спаренных пулеметов.

– Поразить таким образом зарытый танк, – объяснил нам комвзвода, – может только прямое попадание крупной авиабомбы. Ясно?

– Так точно! – ответили члены моего экипажа.

Это означает, подумал я, если немцам удастся прорвать первую и вторую линии нашей обороны на северном фасе, мы должны будем стоять, что называется, насмерть.

Милюшев взглянул на часы.

– Танк должен быть зарыт по всем правилам к 20.00 сегодня! – приказал он и напомнил, что яма должна быть не менее 2 метров глубиной, 3 с четвертью метра шириной и 5 с половиной метров длиной.

– Задача ясна? – спросил он.

– Так точно, товарищ гвардии старший лейтенант! – ответил я.

И мы тут же принялись за работу.

Нормальными лопатами вырыть такую огромную яму оказалось бы куда проще. Но у нас были только саперные лопатки с короткими черенками. Чтобы успеть в срок, рыть надо было быстро и изо всех сил.

Во время одного из коротких перекуров, когда мы все четверо, едва живые от усталости, лежали на земле и дымили самокрутками с махрой, на горизонте показалась группа генералов и полковников с нашими комкором и комбригами. Их было человек десять – двенадцать. Во главе группы шел сам Рокоссовский.

Я узнал его мгновенно: выше всех ростом, статный, с необыкновенно приятными чертами лица. Мы вскочили, надели танкошлемы и выстроились в шеренгу по стойке «смирно». Группа генералов шла проверять готовность войск нашего корпуса к оборонительным боям на случай вражеского наступления в самые ближайшие дни. Как только они приблизились к нам, я доложил:

– Товарищ командующий Центральным фронтом, экипаж танка Т-34 номер 13 разведроты заканчивает рытье, и, как нам было приказано, к 20.00 работа будет окончена и машина будет превращена «в неприступную крепость»!

Рокоссовский сдержанно улыбнулся и скомандовал:

– Вольно.

Пока я по всей форме отдавал рапорт, полковник-смершевец с синими окантовками на погонах подошел к Рокоссовскому и что-то ему сказал так тихо, что ни я, ни члены моего экипажа ничего не услышали. Однако я догадался, что полковник говорит Рокоссовскому что-то обо мне.

Командующий фронтом с интересом взглянул на меня и повторил то, что ему доложил полковник из Смерша:

– Мне говорят, что вы уроженец Соединенных Штатов. Это верно?

(Вопрос застал меня врасплох: попав в Красную армию добровольцем через Фрунзенский райвоенкомат города Москвы, я был абсолютно уверен – о том, что я сделал со своим паспортом, никто никогда не догадается. Я решил: все будет шито-крыто, ни одна собака не узнает, что на самом деле я американец, а не простой парень из Донбасса, за которого себя выдавал. Именно таковым и считали меня члены моего танкового экипажа, комвзвода гвардии старлей Олег Милушев, комроты капитан Жихарев и все другие. Увидев полковника из Смерша и догадавшись, что он сказал Рокоссовскому, я подумал о себе: какой же ты идиот, Никлас!)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.